

ОУЭН УИСТЕР

ВИРДЖИНЕЦ: ВСАДНИК РАВНИН

ДИКИЙ ЗАПАД • РАНЧО • КОВБОИ • РЕВОЛЬВЕРЫ • ЛЮБОВЬ



ГЛАВНЫЙ РОМАН О ДИКОМ ЗАПАДЕ

Оуэн Уистер

Вирджинец: Всадник равнин

<https://litres.ru/74297734>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Вирджинец» Оуэна Уистера (1902) — книга, с которой родился жанр вестерна в том виде, в каком мы его знаем и любим. Безымянный ковбой из Виргинии, известный лишь по прозвищу, кодекс молчаливой чести, дуэль на закате пустой улицы, фраза «Когда так называешь меня — улыбайся!», разошедшаяся по всей американской культуре, — здесь родились все главные образы вестерна. Суровый Вайоминг, дружба и предательство, самосуд над старым другом-скотокрадом, трудная любовь ковбоя к учительнице с Востока Молли Вуд — роман, полвека определявший облик героя Дикого Запада. Мы подготовили не просто перевод, а подарочное издание. В книге — десять иллюстраций к ключевым сценам романа; карта Вайоминга с маршрутом в 263 мили; глоссарий ковбойских терминов; списки героев, мест и растительности фронта; очерк «Война в округе Джонсон (1892)» — о реальных, более жестоких событиях, вдохновивших сцену суда Линча; список любимых блюд ковбойского стола; а на закуску — десять уморительных анекдотов о Диком Западе.

Содержание

От переводчика	4
Глава I Появление мужчины	9
Глава II «Когда ты так называешь меня — улыбайся!»	18
Глава III Стив угощает	43
Глава IV В глубь скотоводческой страны	57
Глава V Появление женщины	75
Глава VI Эмли	81
Глава VII Через две зимы	103
Глава VIII Искренняя старая дева	108
Глава IX Старая дева встречает неизвестное	115
Глава X Где родилась Фантазия	127
Конец ознакомительного фрагмента.	143

Вирджинец: Всадник равнин

От переводчика

«Вирджинец» Оуэна Уистера — книга, с которой, по сути, начался жанр вестерна в том виде, в каком мы его знаем: безымянный ковбой из Виргинии, кодекс молчаливой чести, дуэль на закате пустой улицы, фраза «Когда так называешь меня — улыбайся», разошедшаяся по всей американской культуре. Роман вышел в 1902 году и на добрых полвека вперёд определил, какими должны быть герой, злодей и пейзаж истории про Дикий Запад.

Переводить его — значит постоянно держать в голове три разных языка сразу. Есть язык самого Вирджинца и ковбоев ранчо — скупой, ироничный, нарочито неграмотный, где вместо длинного объяснения — одна точная фраза и пауза после неё. Есть язык рассказчика и Молли Вуд — правильная, чуть старомодная восточная проза с оборотами и метафорами. И есть язык самой земли — Уистер описывает Вайоминг почти как отдельного персонажа, огромного и равнодушного к людским делам. Задача перевода — не дать одному из этих трёх голосов заглушить два других: не превратить Вирджинца в говорящего по-русски мужика «с оканьем», а

прерии — в скучную топографию.

Несколько переводческих решений стоит объяснить сразу. Прозвище «the Virginian» переведено как «Вирджинец» — не «виргинец» через букву «и» и не калька «виргинянин»: так это слово раньше и естественнее ложится в русскую речь и лучше держит ударение как имя. Ковбойские реалии (аркан, загон, клеймо, сгон скота) переведены там, где в русском есть точный и не режущий слух эквивалент; там, где эквивалента нет или он обеднил бы текст (маверик, чапараль), термин оставлен и поясняется по контексту либо в глоссарии в конце книги. Название реки Bear Creek передано как Медвежий ручей, а не оставлено в транслитерации — оно постоянно на слуху у героев и должно звучать по-русски естественно, как и должно звучать место, где человек живёт.

Отдельного слова заслуживает глава о суде Линча над Стивом — одна из самых суровых сцен в американской литературе о Западе. Роман не скрывает, что Уистер писал её с явной симпатией к «закону прерии» и крупным скотоводам того времени, а исторический прототип конфликта — жестокая война между баронами скота и мелкими фермерами в округе Джонсон, Вайоминг, 1892 года — был куда грязнее и неоднозначнее, чем показано в книге. Я не сглаживал и не «поправлял» позицию автора: у читателя есть право увидеть текст 1902 года таким, каким он был написан, и самому решить, что он об этом думает.

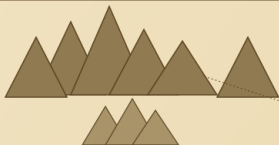
Десять иллюстраций, глоссарий ковбойских терминов и

списки действующих лиц, мест и растительности фронта в конце книги — не часть оригинального издания Уистера, а дополнения к этому переводу, чтобы читателю было удобнее держать в голове огромный мир, который автор строит на трёхстах с лишним страницах. Приятного чтения.

Владимир Давыдов

ШТАТ ВАЙОМИНГ

Мир романа «Вирджинец» — около 1890 года



3. СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ
Rocky Mountains

хребет Боу-Лег
Bow Leg Range

К Востоку:
Бенningтон, Вермонт

4. РАНЧО СУДЬИ ГЕНРИ
дом Вирджинца, на Санг-Крике
конечная точка маршрута

2. МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ
Bear Creek — река и долина,
школа Молли Вуд

● Ранчо Балаама
Бьюэтт-Крик

5. ПУТЬ В 263 МИЛИ
263-Mile Trail — от Медисин-Боу
до ранчо судьи Генри, опасная
дорога на повозке и верхом,
начало дела медведя-пути

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ▲ Горные массивы (Скалистые горы, хребет Боу-Лег)
- Река Медвежий ручей (Bear Creek)
- - - Путь в 263 мили (Медисин-Боу — ранчо судьи Генри)
- Второстепенные места

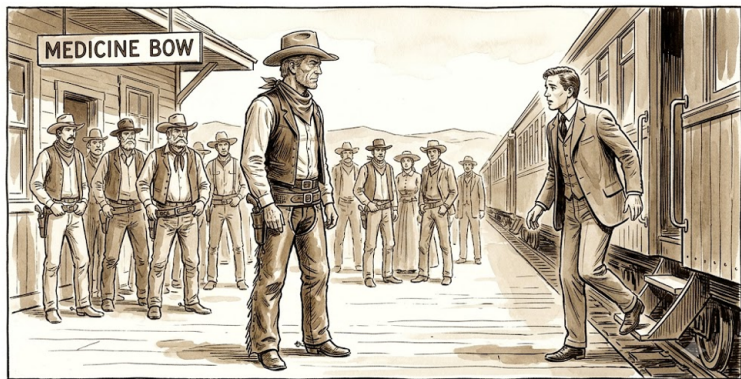
1. МЕДИСИН-БОУ
станция Union Pacific,
начало обиходившего романа

● Драйбоун

Составлена по картине 1890-х годов — составлена по географии романа

Схематическая карта мира романа

Глава I Появление мужчины



1. Встреча в Медисин-Боу: Рассказчик впервые видит Вирджинца на станции.

Встреча в Медисин-Боу

Какое-то занятное зрелище притягивало к окну и мужчин, и женщин; и я, поднявшись, тоже прошёл через вагон посмотреть, в чём дело. У путей был загон, вокруг него — смеющиеся мужчины, внутри — вихрь пыли, а в этой пыли — лошади: они метались, сбивались в кучу, уворачивались. Это были ковбойские мустанги в загоне, и одного из них никак не могли поймать, кто бы ни бросал лассо. У нас было вдоволь

времени полюбоваться этим зрелищем: наш поезд остановился, чтобы паровоз набрал воды из бака, прежде чем подтянуть нас к платформе Медисин-Боу. К тому же мы опаздывали на шесть часов и изголодались по каким-нибудь развлечениям.

Пони в загоне был хитёр и скор на ногу. Видали вы когда-нибудь, как опытный боксёр следит за противником спокойным, неотрывным взглядом? Таким же взглядом этот мустанг провожал каждого, кто брал в руки лассо. Человек мог делать вид, что рассматривает погоду — а погода стояла славная, — или с преувеличенным интересом разговаривать с соседом: без толку. Пони видел его насквозь. Ни одна уловка его не обманывала. Этот зверь был настоящим знатоком света. Его немигающий глаз не отрывался от лукавого противника, а серьёзность его лошадиной физиономии превращала происходящее в высокую комедию. Лассо взлетало в его сторону — но мустанг уже был в другом месте; и если лошади умеют смеяться, в том загоне царил истинное веселье. То мустанг делал круг в одиночку, то в один миг проскальзывал к своим товарищам, и вся ватага, точно стая игривых рыб, проносилась по загону, взбивая мелкую пыль и (сдаётся мне) хохоча во всё горло. Сквозь стекло нашего пульмановского вагона до нас долетал глухой стук их озорных копыт и крепкая, добродушная брань ковбоев.

Тут я впервые заметил человека, что сидел на высоких воротах загона и наблюдал за происходящим. Он спустил-

ся вниз — плавно, легко, извиваясь, как тигр, будто мышцы текли у него под кожей. Остальные явно раскручивали лассо, кое-кто заносил его аж до плеча. Я не видел, чтобы этот хоть шевельнул рукой. Он словно держал верёвку низко, у самой ноги. Но, точно внезапно метнувшаяся змея, петля вдруг вылетела на всю длину и упала точно в цель; и дело было сделано. Пойманный мустанг входил в загон с видом кротким, точно у церковных дверей, а наш поезд тем временем медленно подкатывал к станции, и один из пассажиров заметил: — Этот человек знает своё дело.

Но рассуждения пассажира об искусстве лассо мне пришлось пропустить мимо ушей: Медисин-Боу был моей станцией. Я простился с попутчиками и сошёл, чужаком, на этой великой скотоводческой земле. И здесь, не прошло и десяти минут, я узнал новость, из-за которой почувствовал себя чужаком по-настоящему.

Мой багаж пропал; он не пришёл с моим поездом; он блуждал где-то среди тех двух тысяч миль, что остались позади. А в утешение носильщик заметил, что пассажиры часто отбиваются от своих сундуков, но по большей части сундуки со временем их находят. Одарив меня этим ободрением, он со свистом занялся своими делами, оставив меня торчать посреди багажного отделения Медисин-Боу. Я стоял покинутый среди ящиков и коробок, тупо сжимая квитанцию, голодный и покинутый. Я глядел в дверь на небо и равнину, но не видел ни антилоп, сиявших среди полыни, ни великого

закатного света Вайоминга. Досада ослепила меня для всего, кроме моей обиды: я видел лишь пропавший сундук. И бормотал уже вслух: «Что за богом забытая дыра!» — как вдруг снаружи, с платформы, донёсся неторопливый голос:

— Опять жениться? Да брось ты!

Голос был южный, мягкий, тягучий; и тотчас в ответ раздался другой — треснутый, брюзгливый:

— Никакое не «опять». Кто сказал «опять»? Кто тебе наболтал?

И первый голос продолжил ласково:

— Да твой воскресный костюм мне и наболтал, дядюшка Хьюи. Он о свадьбе кричит во весь голос.

— Не твоя печаль! — огрызнулся дядюшка Хьюи с пронзительным жаром.

А тот мягко продолжал:

— А перчатки эти — не те же, что на последней твоей свадьбе были?

— Не твоя печаль! Не твоя печаль! — уже завопил дядюшка Хьюи.

Я успел позабыть о своём сундуке; тревога отступила; я осознавал закат и не желал ничего, кроме продолжения этого разговора. Ничего подобного мне в жизни слышать не доводилось. Я подошёл к двери и выглянул на перрон.

Там, привалившись к стене, беспечно стоял стройный молодой великан — красивее любой картинки. Широкополая мягкая шляпа была сдвинута на затылок; свободно повя-

занный тускло-алый платок сползал с шеи; большой палец небрежно зацепился за патронташ, наискось перепоясывавший бёдра. Он явно проделал долгий путь откуда-то из-за необъятного горизонта — об этом говорила пыль на нём. Сапоги были белы от неё. Рабочие штаны серы от неё. Обветренный румянец его лица проступал сквозь эту пыль тускло, как спелые персики просвечивают на деревьях в засушливый год. Но никакая дорожная пыль, никакая потёртость одежды не могли затмить того сияния, что исходило от его молодости и силы. Старик же, на чей нрав так метко действовали его слова, был причёсан и вычищен до блеска, жених — метёный и прибранный; но увы старости! Будь я невестой — выбрала бы великана, со всей его пылью.

С стариком он ещё далеко не покончил.

— Да у тебя ж на каждой жилке свадебный наряд висит! — протянул он теперь с восхищением. — Кто на этот раз счастливица?

Старик будто задрожал.

— Говорю тебе, никакой другой не было! Мормоном меня выставить хочешь?

— Да я ж...

— Мормоном меня назвать? Тогда назови жён. Назови двух. Назови хоть одну. А ну!

— ...ту вдовушку из Ларами, что тебе обещала...

— Тьфу!

— ...только доктор ей вдруг велел на юг, в тёплые края, и...

— Тьфу! Врёшь ты всё.

— ...так что только лёгкие её меж вами и встали. А потом ты чуть не сошёлся с Кошкой Кейт, только...

— Говорю тебе, врёшь!

— ...только её повесили.

— Где тут жёны во всём этом? Покажи жён! Ну-ка!

— А та кукурузная пышечка из Роулинза, которой ты канарейку подарил...

— Не женился на ней. Не женился...

— Да ты уж почти дошёл до дела, дядюшка! Она ж тебе то самое письмо оставила — как вышла замуж за молодого карточного игрока за день до вашей с ней свадьбы, и...

— Да ну тебя, сопляк, ты ещё ничего не...

— ...и как она так и не забыла канарейку кормить.

— Развелось в этих краях сопляков, — заявил старик убийственно. — Гибнет страна.

Это сокрушительное суждение явно его удовлетворило. Он моргал глазами в новом предвкушении. А его высокий мучитель продолжал с неизменно серьёзным лицом и голосом нежной заботы:

— А как здоровье той несчастной...

— Вот-вот! Сыпь оскорблениями! Сыпь на больную, страждущую женщину! — глаза его заблестели от боевого удовольствия.

— Оскорбления? Да что вы, дядюшка Хьюи!

— То-то и оно! Оскорбления, и всё тут!

— Да я страх как обрадовался, когда она начала память вспоминать. В последний раз слышал — почти всё обратно вспомнила. И отца, и мать вспомнила, и сестёр с братьями, и друзей, и счастливое детство, и всё на свете — окромя твоего лица разве что. Ребята уж ставки делали, что и это вспомнит, дай срок. Но, думается, после такой страшной хвори это уж было бы чересчур.

Тут дядюшка Хьюи выдернул маленький свёрток.

— Вот и видно, много ты понимаешь! — прокудахтал он. — Гляди сюда! Вот моё кольцо, что она мне обратно прислала, — слишком, вишь, расстроена для свадьбы. Так что, не помнит она меня, а? Ха-ха! Говорил же — врёшь ты всё.

Южанин вложил в голос ещё больше тревоги.

— Так ты это кольцо прямиком следующей понесёшь! — воскликнул он. — Ой, не женись снова, дядюшка Хьюи! На что она вообще, женитьба-то?

— На что? — эхом отозвался жених с презрением. — Хм! Вот вырастешь — иначе думать станешь.

— Известное дело, буду думать иначе, когда возраст мой станет иным. У меня сейчас мысли, какие двадцати четырёх годам положены, а у тебя — какие шестидесяти.

— Пятьдесят! — взвизгнул дядюшка Хьюи, подпрыгнув на месте.

Южанин заговорил с тоном раскаяния.

— Ну надо же, забыл, что тебе пятьдесят, — пробормотал он, — когда ты это ребятам последние десять лет так стара-

тельно втолковывал!

Видали вы когда-нибудь какаду — белого, с хохолком, — оскорблённого до ярости? Птица вздыбливает все перья до единого. Так и дядюшка Хьюи, казалось, весь раздулся — одеждой, усами, седой шерстистой бородой; и, не говоря более ни слова, взошёл на подошедший тем временем восточный поезд, который как раз прибыл с запасного пути, чтобы его увезти.

Впрочем, не потому он не ушёл раньше. В любой момент он мог укрыться в багажном отделении или отойти на почтенное расстояние, пока не подойдёт его поезд. Но старик, видно, находил в этом дразнении какую-то отраду. Он достиг того неизбежного возраста, когда всякому лестно, что его вообще связывают с амурными делами, пусть даже так.

Вместе с ним восточный поезд медленно удалился в ту даль, откуда я сам приехал. Я глядел ему вслед, пока он шёл своей дорогой к далёким берегам цивилизации. Он удалялся в бескрайней пучине пространства, пока не осталось от его присутствия ничего, кроме зыбкой нити дыма на вечернем небе. И тут мысли мои вновь вернулись к пропавшему сундуку, а Медисин-Боу показался мне пустынным местом. Что-то вроде корабля покинуло меня на чужом берегу; пульман преспокойно пыхтел домой, в порт, а я — как мне было теперь искать ранчо судьи Генри? Где в этой безликой глуши искать Санк-Крик? Ни ручья, ни воды вообще не текло здесь, насколько я мог видеть. Хозяин писал, что встретит

меня на станции и отвезёт к себе на ранчо. Вот и всё, что я знал. Его здесь не было. Носильщик его в последнее время не видел. Ранчо почти наверняка было слишком далеко, чтобы дойти пешком, да ещё на ночь глядя. Мой сундук... — я поймал себя на том, что всё ещё уныло гляжу вслед исчезнувшему восточному поезду, и в тот же миг заметил, что высокий человек серьёзно смотрит на меня — так же серьёзно, как смотрел на дядюшку Хьюи на протяжении всего их примечательного разговора.

Видя, что его взгляд остановился на мне, а большой палец всё так же зацеплен за патронташ, я невольно припомнил кое-какие тревожные рассказы путешественников об этих краях. Теперь, когда дядюшка Хьюи уехал, не занять ли и мне его место — не пригласят ли, к примеру, и меня сплаться на перроне под музыку метко пущенных выстрелов?

— Полагаю, я как раз вас и ищу, сэр, — заметил теперь высокий человек.

Глава II «Когда ты так называешь меня — улыбайся!»



2. «Когда ты так называешь меня, улыбайся!»: Конфликт с Трампасом в салуне.

«Когда ты так называешь меня — улыбайся!»

Мы не можем видеть себя так, как видят нас другие, — иначе я знал бы, какой вид приобрёл при этих словах высокого человека. Я промолчал, не зная, что сказать.

— Полагаю, я как раз вас и ищу, сэр, — учтиво повторил он.

— Я ищу судью Генри, — ответил я теперь.

Он подошёл ближе, и я увидел, что ростом он вовсе не великан. Не более шести футов. Это дядюшка Хьюи заставил его казаться исполином. Но во взгляде его, в лице, в поступи, во всём его облике было нечто властное, что не могло не почувствовать — думаю — ни мужчина, ни женщина.

— Судья послал меня за вами, сэр, — пояснил он теперь своим учтивым южным голосом и протянул мне письмо от моего хозяина. Не будь я свидетелем его насмешливого представления с дядюшкой Хьюи, я счёл бы его вовсе не наделённым подобным даром. Ничто внешне в нём не выдавало ничего, кроме той серьёзности, серьёзнее которой трудно кого-либо встретить. Но я всё видел; и потому, вообразив, словно знаю его, несмотря на его облик, будто я, так сказать, посвящён в его тайну и вправе ему подмигнуть, я тотчас взял тон непринуждённости. Так приятно было держаться непринуждённо с этим рослым незнакомцем, который вместо того, чтобы стрелять вам в пятки, весьма учтиво вручил письмо.

— Вы, полагаю, из старой Виргинии? — начал я.

Он ответил неспешно:

— Стало быть, полагаете верно, сэр.

Лёгкий холодок пробежал по моей непринуждённости, но я бодро продолжал расспросы.

— Много ли здесь встречается таких чудаков, как дядюшка Хьюи?

— Да, сэр, чудаков тут порядочно. Прибывают с каждым поездом.

Тут я оставил свою манеру непринуждённости.

— Хотел бы я, чтобы с поездом прибывали ещё и сундуки,

— сказал я и рассказал ему о своей беде.

Не стоило ждать, что моя потеря его сильно тронет; но он принял новость вовсе без комментариев.

— Подождём в городе, — сказал он всё так же учтиво.

А то, что я успел увидеть от «города», представлялось мне, только что прибывшему, совершенно ужасным. Если бы можно было заночевать прямо на ранчо судьи, я предпочёл бы это.

— Не слишком ли далеко туда ехать на ночь глядя? — спросил я.

Он посмотрел на меня с недоумением.

— Ведь в этом саквояже, — пояснил я, — всё, что мне непосредственно нужно; сундук, по правде, может подождать день-другой, если отправить его неудобно. Так что если бы мы выехали прямо сейчас и добрались не слишком поздно...

Я запнулся.

— Двести шестьдесят три мили, — сказал Вирджинец.

На моё громкое восклицание он не ответил ничего, лишь смерил меня взглядом ещё раз и произнёс:

— Ужин, должно быть, уже готов.

Он взял мой саквояж, и я последовал за ним к харчевне в молчании. Я был ошеломлён.

По дороге я прочёл письмо хозяина — короткое, госте-

приимное послание. Он весьма сожалел, что не может встретить меня сам. Он уже собирался выехать, когда явился землемер и задержал его. Поэтому вместо себя он посылал в город человека надёжного, который присмотрит за мной и доведёт до места. Там с большим удовольствием ждут моего приезда. Вот и всё.

Да, я был ошеломлён. Как здесь считают расстояния? Скажешь по-соседски «съездить в город» — а это означает... я даже не знал, сколько дней. А что тогда значит «заглянуть на огонёк»? И сколько миль здесь считают действительно далеко? Я воздержался от дальнейших расспросов «надёжного человека». Мои вопросы пока не пользовались особым успехом. Заставлять меня плясать он, конечно, не собирался — это было бы едва ли надёжно. Но и держаться со мной как с равным он тоже не собирался. Отчего же? Чем я заслужил эту скрытую, искусную издёвку насчёт чудаков, прибывающих с каждым поездом? Раз уж его послали присмотреть за мной, он это исполнит, даже понесёт мой саквояж; но шутить с ним я не мог. Этот статный, неграмотный сын земли воздвиг между нами преграду своей холодной, безупречной учтивости. Ни один светский человек не сделал бы этого лучше. В чём же дело? Я взглянул на него — и вдруг понял. Позволь он себе фамильярность в первые две минуты знакомства — я бы, конечно, обиделся; так по какому праву позволил себе фамильярность я? Это отдавало снисходительностью: в этом случае из нас двоих джентльменом ока-

зался он. Вот, во плоти и крови, истина, в которую я давно верил на словах, но никогда прежде не встречал воочию. Существо, что мы зовём джентльменом, коренится глубоко в сердцах тысяч людей, рождённых без всякой возможности овладеть внешним лоском этого рода.

Между станцией и харчевней я много о чём успел поразмыслить. Но мыслям этим суждено было вскоре утонуть в изумлении перед тем редкостным человеком, в чьё общество забросила меня судьба.

Город, как они его называли, нравился мне тем меньше, чем дольше я на него смотрел. Но пока наш язык не растянется и не отыщет слова, подходящего точнее, «город» сойдёт для обозначения такого места, как Медисин-Боу. С тех пор я видел и ночевал во многих подобных. Разбросанные широко, они усеивали фронтир от Колумбии до Рио-Гранде, от Миссури до Сьерры. Они лежали неподвижно, разбросанные по планете безлесной пыли, точно замусоленные карточные колоды. Каждый походил на соседний, как одна старая пятёрка треф на другую. Дома, пустые бутылки и мусор — вечно один и тот же бесформенный узор. Печальнее выветрившихся костей, они казались занесёнными сюда ветром и словно ждали, когда ветер вернётся и унесёт их прочь. И всё же над этой скверной безмятежно плыл чистый, тихий свет, какого не увидишь на Востоке; казалось, они купаются в воздухе первого утра творения. Под солнцем и звёздами их дни и ночи были непорочны и дивны.

Медисин-Боу был для меня первым таким городом, и я тут же прикинул его размеры: двадцать девять строений всего — один угольный жёлоб, одна водокачка, станция, один магазин, две харчевни, один бильярдный зал, два сарая для инструментов, одна кормовая конюшня и ещё двенадцать построек, которые я по разным причинам называть не стану. И всё же этот жалкий кокон убожества заботился о видимости: многие дома здесь носили фальшивый фасад, чтобы казаться двухэтажными. Так они стояли, воздвигая свой жалкий маскарад среди каймы старых консервных банок, а прямо у их дверей начинался мир хрустального света — земля без конца, пространство, через которое Ной и Адам могли бы прийти напрямик со страниц Книги Бытия. В это пространство уходила дорога — через холм и из виду, и снова вверх, уже меньше вдаль, и снова вниз, и снова вверх, до рези в глазах, — и так вдаль.

Тут я услышал, как кто-то окликнул моего Вирджинца. Он вывалился, гогоча, из какой-то двери и махнул рукой в сторону шляпы Вирджинца. Южанин увернулся, и я снова увидел то тигриное перекачивание тела и понял, что мой провожатый — тот самый человек с лассо из загона.

— Как оно, Стив? — сказал он весельчаку. И в его тоне я тотчас услышал старую дружбу. Со Стивом он позволял себе фамильярность — и принимал её.

Стив взглянул на меня и отвёл глаза — только и всего. Но этого было довольно. Ни в одной компании я ещё не чувство-

вал себя таким чужаком. И всё же компания эта мне нравилась, и мне хотелось бы понравиться ей.

— Только что в город? — спросил Стив у Вирджинца.

— С полудня здесь. Поезда дожидался.

— Едешь сегодня?

— Полагаю, тронусь завтра.

— Все койки заняты, — сказал Стив. Это было сказано для моего сведения.

— Вот те на, — сказал я.

— Да ладно, кто-нибудь из этих коммивояжёров, поди, пустит вас к себе на подселение. — Стив, кажется, наслаждался происходящим. У него были своё седло и одеяла, и койки его не заботили.

— Коммивояжёры, значит? — спросил Вирджинец.

— Два еврея с сигарами, один американец с лекарством от чахотки и один немец с побрякушками.

Вирджинец поставил мой саквояж на землю и, казалось, задумался.

— А мне вот как раз нужна была койка на ночь, — тихо протянул он.

— Ну что ж, — предложил Стив, — американец, сдаётся, моется почаще прочих.

— Это мне без разницы, — заметил южанин.

— Разница будет, как увидишь их.

— Да я о другом. Мне бы койку целиком, для себя одного.

— Тогда придётся её сколотить самому.

— Спорим, я возьму немецкую.

— Возьми того, кто не спугнётся. Спорим на выпивку — американскую тебе не заполучить.

— По рукам, — сказал Вирджинец. — Возьму его койку без всякой возни. Выпивка на всю компанию.

— Похоже, ты меня уже обошёл, — сказал Стив, глядя на него с ласковой усмешкой. — Ну ты и сукин... сын, когда берёшься за дело всерьёз. Ладно, бывай! Мне ещё коню попыта чистить.

Я ожидал, что за такие слова его повалят на месте. Мне казалось, он употребил в адрес Вирджинца самое тяжкое оскорбление. Я подивился, что оно слетело с дружелюбных губ Стива так буднично. И подивился ещё больше теперь. Видно было, что он не желал зла — и видно было, что обиды никто не принял. Употреблённое так, это слово явно было похвалой. Я и впрямь вступил в новый для себя мир, и новизна за новизной обрушивались на меня, не давая перевести дух.

О том, где мне спать, я вовсе позабыл за этим любопытством. Что задумал Вирджинец теперь? Я начал понимать, что тишина этого человека — вулканического свойства.

— Умыться не желаете, сэр?

Мы стояли у дверей харчевни, он поставил мой саквояж внутрь. По своей наивности новичка я искал глазами умывальные принадлежности прямо в доме.

— Оно вон там, во дворе, сэр, — пояснил он серьёзно,

но с сильным южным выговором. Внутреннее веселье, казалось, часто усиливало местный колорит его речи. В другое же время в ней почти не было ни особого выговора, ни грамматических огрехов.

Справа от меня стояло корыто, скользкое от мыльной воды; над одним его концом на ролике висела тряпица самого удручающего вида. Вирджинец схватил её, и она сделала на ролике один полный оборот. Ни сухого, ни чистого дюйма на ней было не сыскать. Он снял шляпу и просунул голову в дверь.

— Ваше полотенце, мэм, — сказал он, — пользуется слишком большим успехом.

Вышла она — миловидная женщина. Взгляд её на миг задержался на нём, затем с неодобрением скользнул по мне, затем вернулся к его чёрным волосам.

— Норма — одно в день, — сказала она очень тихо. — Но раз уж вы такие привередливые...

Она закончила фразу, убрав старое полотенце и подав нам чистое.

— Благодарю вас, мэм, — сказал ковбой.

Она ещё раз взглянула на его чёрные волосы и, не сказав больше ни слова, вернулась к своим гостям, ужинавшим в доме.

В корыте стояло ведёрко, почти пустое; он наполнил его для меня из колодца. В корыте плавал ещё чей-то кусок мыла, но я взял своё. И затем в жестяном тазу смыл, насколько

сумел, дорожную грязь. Немного мне удалось привести себя в порядок у этого первого в моей жизни умывального корыта, но пришлось довольствоваться этим, и я сел ужинать.

Консервы — солонина. И один из моих соседей по столу сказал о ней сущую правду:

— Как вцепился я в неё зубами, — заметил он, — думал, гамак жую.

Кофе у нас был странный, и сгущённое молоко; а мух я не видал более никогда в жизни. Заговаривать я не пытался: никто в этих краях не выказывал ко мне расположения. По какой-то причине — моя ли одежда, моя ли шляпа, мой ли выговор — я, сам того не желая, обладал секретом отталкивать людей с первого взгляда. И всё же я преуспевал больше, чем сам понимал: моё строгое молчание и внимание к солонине выгодно отличало меня в глазах ковбоев за столом от чересчур говорливых коммивояжёров.

Появление Вирджинца вызвало недолгое молчание. Он сотворил чудеса с умывальным корытом и как-то умудрился почистить одежду. При всей грубости своего наряда он теперь выглядел опрятнее всех нас. Он кивнул несколькими ковбоям и молча принялся за еду.

Но молчание — не родная стихия коммивояжёра. Средняя рыба способна дольше пробыть без воды, чем эта порода людей — без разговора. Один из них поглядел через стол на серьёзного, в фланелевой рубаше Вирджинца, изучил его и пришёл к неосторожному выводу, будто понимает своего

человека.

— Добрый вечер, — бойко сказал он.

— Добрый вечер, — сказал Вирджинец.

— Только что в город? — продолжал коммивояжёр.

— Только что, — учтиво подтвердил Вирджинец.

— Скотоводство идёт бойко?

— Да так, сносно. — И Вирджинец взял ещё солонины.

— Аппетит-то, вижу, у вас бойчее скотоводства.

Вирджинец отпил кофе. Тут же миловидная хозяйка, не дожидаясь просьбы, наполнила ему чашку снова.

— Кажись, мы уже встречались, — заявил коммивояжёр далее.

Вирджинец бросил на него короткий взгляд.

— Разве нет? Разве я вас не видал где-то? Гляньте на меня хорошенько. Вы ж в Чикаго бывали, а? Гляньте получше. Айки помните, нет?

— Не припомню что-то.

— Вот видите! Я ж знал, что вы в Чикаго бывали. Года четыре-пять назад. Или, может, два года. Мне время без разницы. Но лицо я не забываю никогда. Да, сэр. Мы с ним у Айки и встречались, точно.

Этот важный факт коммивояжёр объявил всем присутствующим. Нас призвали в свидетели того, как убедительно он доказал старинное знакомство.

— Тесен свет-то, а! — воскликнул он самодовольно. — Раз встретишь человека — непременно снова на него на-

ткнёшься. Это уж точно. Не байка это трактирная.

И взгляд коммивояжёра доверительно обвёл всех нас. Я задумался, не достиг ли он той высшей степени совершенства, когда человек начинает верить собственной лжи.

Вирджинца это, похоже, не занимало. Он невозмутимо ел, пока наша хозяйка сновала между столовой и кухней, а коммивояжёр разливался соловьём.

— Да, сэр! Заведение Айки, у самых скотных дворов, там все скотопромышленники бывают, кто себе цену знает. Вот там. Может, три года прошло. Мне время всегда было без разницы. Но лица! От лиц я никуда не денусь. Взрослые ли, дети, мужчины, женщины — раз увижу, из памяти не выкину, хоть озолоти меня, хоть по пять долларов за лицо плати. Белые, я про белых. С неграми там или с китайцами — этот номер не пройдёт. А вы белый, всё в порядке. — Коммивояжёр внезапно вновь адресовал этот высокий комплимент Вирджинцу. Ковбой достал трубку и медленно её растирал. Комплимент, казалось, ускользнул от его внимания, и коммивояжёр продолжал.

— Уж я-то отличу белого человека что у Айки, что тут, среди полыни.

И он подкатил сигару к тарелке Вирджинца.

— Продаёте, значит? — осведомился Вирджинец.

— Товар первый сорт, друг мой. Гаванская обёртка, лучшее табачное предложение за пять центов, какое только сыщешь. Берите, пробуйте, прикуривайте, смотрите, как горит.

Вот. — И он протянул пучок спичек.

Вирджинец бросил ему монету в пять центов.

— Да что вы, друг мой! Только не от вас! Не после Ай-ки-то! Я вас не забыл. Понимаете? Я сразу ваше лицо признал. Понимаете? Точно вам говорю. Видал я вас в Чикаго, факт.

— Может, и видали, — сказал Вирджинец. — Я иной раз до того беспечен насчёт того, на кого гляжу.

— Ну, чёрт побери! — воскликнул тут немецкий коммивояжёр весело. — Я есть совсем разочарован. Я так надеялся сам ему что-нибудь продать.

— И не мечтайте, — заметил американец. — Он для меня слишком здоровый. Я его с первого взгляда списал.

Вот теперь стало ясно: именно на койку американского коммивояжёра нацелился Вирджинец. Этот был человеком разумным и говорил меньше своих собратьев по ремеслу. Я почти не сомневался, кто в итоге будет спать на этой койке; но самый способ, каким это устроится, занимал меня теперь ещё сильнее.

Вирджинец добродушно поглядывал на свою намеченную жертву и обронил пару замечаний о патентованных снадобьях. В них, полагал он, водятся немалые деньги — при толковом-то управляющем. Жертва была польщена. Никто больше за столом не удостоился от рослого ковбоя такого внимания. Тот отозвался, и между ними завязалась приятная беседа. Я не догадывался, что гений Вирджинца уже тру-

дится вовсю и что всё это — часть его дьявольской стратегии. Но Стив, видно, догадался. Ибо пока несколько из нас ещё доедали ужин, этот шутливый наездник, покончив с лечением копыт своей лошади, просунул голову в дверь столовой, окинул взглядом то, как Вирджинец привлекает свою жертву в разговор, громко заметил: «Проиграл!» — и хлопнул дверь снова.

— Что он там проиграл? — осведомился американский коммивояжёр.

— А, не берите в голову, — протянул Вирджинец. — Он из тех недоумков, что бегают туда-сюда, двери хлопают. Мы его безобидным зовём.

— Что ж, — оборвал он себя, — пойду, пожалуй, покурю. У вас тут не разрешается? — Это он адресовал хозяйке, с особой мягкостью. Она покачала головой, и глаза её проводили его до самой двери.

Оставшись один, я поразмыслил ещё немного о своём ночлеге и выкурил сигару для утешения, прохаживаясь туда-сюда. Гостиницей то, где мы ужинали, назвать было нельзя. Гостиницы в Медисин-Боу, похоже, вовсе не было. Но рядом с харчевней располагалось то самое помещение, где, по словам Стива, все койки были заняты, и я отправился взглянуть сам. Стив не солгал. Это была одна-единственная комната с четырьмя-пятью койками и решительно ничем более. И глядя на эти койки, я почувствовал, что моя печаль оттого, что мне не спать ни на одной из них, заметно поубавилась.

Спать одному в такой не соблазняло, а уж что до этого местного гостеприимства, этого «подселения»...

— Что ж, они нас опередили. — Это Вирджинец стоял у моего локтя.

Я согласился.

— Застолбили свои участки, — добавил он.

В этой общей спальне поступили так же, как поступают, занимая место в вагоне поезда. На каждой койке, в знак того, что она занята, лежала какая-нибудь вещь из дорожного скарба или одежды. Пока мы стояли там, вошли двое евреев, раскрыли и разложили свои саквояжи, сложили и переложили свои полотняные балахоны. Затем явился железнодорожный служащий и в этот час, ещё до того, как сумерки вполне сгустились в ночь, начал укладываться спать. Для него отход ко сну означал снять сапоги и сунуть рабочие штаны с жилетом под подушку. Пальто у него не было вовсе. Работа его начиналась в три утра; и даже пока мы ещё разговаривали, он уже захрапел.

— Хозяин магазина — мой приятель, — сказал Вирджинец, — на его прилавке вам будет почти уютно. Одеяла есть? Одеял у меня не было.

— Койку ищите? — осведомился, подойдя, американский коммивояжёр.

— Да, койку он ищет, — ответил за меня голос Стива у него за спиной.

— Впустую время тратите, похоже, — заметил Вирджи-

нец. Он задумчиво переводил взгляд с одной койки на другую. — Я и не знал, что тут заночевать придётся. Что ж, случилось мне и сидя ночевать.

— Вот эта — моя, — сказал коммивояжёр, усаживаясь на неё. — Мне и половины за глаза хватит.

— Вы уж чересчур добры, — сказал ковбой. — Но не хотелось бы вас стеснять.

— Пустяки. Другая половина ваша. Хоть сейчас ложитесь, коли охота.

— Нет, сейчас, пожалуй, не лягу. Держите койку при себе.

— Да вы поймите, — настаивал коммивояжёр, — коли я вас возьму, так убережён от того, чтобы мне подселили какого-нибудь другого, кто мне не по нраву придётся. Это дело — вроде лотереи.

— Что ж, — сказал Вирджинец (и промедление его было поистине мастерским), — коли вы так ставите вопрос...

— Так и ставлю. Да вы ж чистюля! Побрились вон только что. Ложитесь, когда охота придёт, старина! Я сам-то пока не собираюсь.

Тут коммивояжёр допустил маленькую фальшивую ноту в своих последних словах. Не стоило ему говорить «старина». До этой минуты я полагал его просто любезным человеком, желающим оказать услугу. Но «старина» прозвучало не к месту. В этом слове был ненавистный привкус его ремесла — эта чрезмерная скорость сближения со всяким встречным, эта целлулоидная задушевность, что у девяти из десяти

ти городских выдаёт себя за слоновую кость. Но не таковы сыны полыни. Они живут ближе к природе и знают лучше.

Но Вирджинец невозмутимо принял «старину» от своей жертвы: у него была своя игра.

— Что ж, весьма благодарен, — сказал он. — Попозже я, пожалуй, воспользуюсь вашим любезным предложением.

Я удивился. Владение — девять десятых закона, казалось бы, вот его случай укрепиться в этой койке. Но ковбой замышлял кампанию, не требующую окопов. К тому же лечь спать до девяти вечера в первый же вечер за много недель, когда городские соблазны наконец открыты, было бы скучным делом. Вся наша компания, вместе с коммивояжёром, отправилась теперь в магазин, и здесь мой ночлег устроился без труда. Этот магазин был самым чистым и лучшим местом во всём Медисин-Боу и оказался бы хорош в любом городе — множество товаров на продажу, и хозяин весьма учтивый. Он велел мне чувствовать себя как дома и предоставил в моё распоряжение оба прилавка. На бакалейной стороне лежал сыр, слишком крупный и резкий, чтобы спать рядом с ним со всем удобством, и потому я выбрал сторону мануфактурную. Здесь для меня расстелили толстые стёганные одеяла, чтобы было мягче, и не поставили иных условий, кроме как снять сапоги, поскольку одеяла были новые, чистые и предназначались на продажу. Итак, ночлег мой был обеспечен. Ни одна тревога более не занимала мои мысли. Они целиком обратились теперь к другой койке — и к тому, как же её хозяин

её лишится.

Думаю, Стив был любопытен даже больше меня. Время летело. Пари его требовало разрешения, а выпивка — наслаждения. Он стоял у бакалейного прилавка, разглядывая Вирджинца. Но обращался он ко мне. Вирджинец, впрочем, слушал каждое слово.

— Впервые в этих краях?

Я ответил, что да.

— Как вам нравится?

Я сказал, что рассчитываю, что понравится очень.

— А климат как, по нраву?

Я сказал, что климат отличный.

— Жажда от него, впрочем, берёт.

Вот он, тот подтекст, которого явно и дожидался Вирджинец. Но он, как и Стив, обращался ко мне.

— Да, — вставил он, — жажда берёт, пока человек ещё мягок. Обыкнетесь.

— Полагаю, найдёте эту страну суше, чем ожидали, — сказал Стив.

— Коли у вас привычка частая в этом смысле, — сказал Вирджинец.

— Есть в Вайоминге места, — продолжал Стив, — где часами, часами не увидишь ни капли влаги.

— А коли всё думать об этом, — сказал Вирджинец, — так покажется, что дни, дни целые прошли.

Тут Стив сдался и хлопнул его по плечу с радостным

смешком.

— Ну ты и сукин сын! — воскликнул он с нежностью.

— Выпивка теперь за мной причитается, — сказал Вирджинец. — Моё угощение, Стив. Но, полагаю, томиться тебе ещё придётся.

Так они соскользнули в прямой разговор из той речи четвертого измерения, где меня использовали вместо телефона.

— Картишки сегодня будут? — осведомился Вирджинец.

— Стад и дро, — сообщил Стив. — Чужаки играют.

— Не прочь бы засесть на часок, — сказал южанин. — Чужаки, говоришь?

И затем, прежде чем покинуть магазин, он совершил свой туалет перед этой небольшой партией в покер. Приготовление было простым. Он вынул револьвер из кобуры, осмотрел его, затем сунул за пояс рабочих штанов под рубаху спереди и натянул сверху жилет. Он с тем же успехом мог бы причёсываться — никто, кроме меня, не обратил на это внимания. Затем оба приятеля вышли, и я вспомнил то самое прозвище, которым Стив вновь наградил Вирджинца, хлопая его по плечу. Ясно было, что этот дикий край говорит на языке, отличном от моего, — здесь это слово было ласковым обращением. Таково было моё заключение.

Коммивояжёры покончили со своими делами с хозяином магазина и теперь болтали кучкой у двери, когда мимо проходил Вирджинец.

— Увидимся позже, старина! — окликнул американский

коммивояжёр своего будущего соседа по койке.

— Ну да, — отозвался тот и был таков.

Американский коммивояжёр торжествующе подмигнул своим собратям.

— Он в порядке, — заметил он, дёрнув большим пальцем вслед Вирджинцу. — Он лёгкий. Надо только знать подход. Вот и всё.

— А в чём же есть ваш подход? — осведомился немецкий коммивояжёр.

— Подход в том, что он у меня-то товар не возьмёт, ни у вас; зато он всякому чахоточному, кого встретит, моё снадобье нахваливать станет. Я с ним ещё не покончил. Слышь, — обратился он теперь к хозяину, — как её звать-то?

— Кого звать?

— Женщину, что харчевню держит.

— Глен. Миссис Глен.

— Она ж новенькая тут, нет?

— Месяц как обосновалась. Муж у неё кондуктором на товарняке.

— То-то я гляжу, не видал её прежде. Хороша собой.

— Хм! Да. Такая красота, что я предпочту видеть её женой другого, а не своей.

— Так, стало быть, к ней ходят?

— Да как сказать. С такой репутацией она сюда и явилась. Только всех тут постигло разочарование.

— Значит, поклонников у неё хватало?

— Хватало! Вы ковбоев-то знаете?

— И всем отказ? Может, мужа своего любит?

— Хм! Да поди узнай про этих молчунов.

— Кстати о кондукторах, — начал коммивояжёр. И мы выслушали его анекдот. Публике он понравился; но когда рассказчик бойко перешёл ко второму, я вышел вон. В его рассказах было слишком мало остроумия, чтобы искупить неприличие, и мне стало стыдно, что меня застали смеющимся вместе с ним.

Оставив эту компанию за их всё более откровенными байками, я направился в салун. Там царили тишина и порядок. Пивные бутылки по доллару кварта — такого мне встречать ещё не доводилось; но если не считать цены, жаловаться было не на что. Через двойные двери я прошёл из собственно бара, с его бутылками и головой лося на стене, в дальний зал с его столами. Я увидел человека, снимавшего карты с колоды, и напротив него другого, откладывавшего фишки. Рядом сидел ещё один сдающий, тянувший карты со дна колоды, а напротив него — угрюмый старый деревенщина, складывавший и перекладывавший монеты на уже открытых картах.

Но тут я услышал голос, обративший мой взгляд в дальний угол зала.

— Отчего ж ты не остался в Аризоне?

Безобидные слова, как я их здесь записываю. И всё же при звуке их я заметил, как взгляды остальных обратились в тот угол. Какой ответ на них дали, я не расслышал, да и не уви-

дел, кто говорил. Затем прозвучало ещё одно замечание.

— Ну, Аризона — не место для любителей.

Тут оба сдающих, стоявшие рядом со мной, начали уделять внимание группе, сидевшей в углу. Во мне возникло желание покинуть эту комнату. До сих пор мои часы в Медисин-Боу текли будто под солнцем веселья, беспечной шутливости. Теперь это разом исчезло, точно ветер переменялся на северный посреди тёплого дня. Но я остался — устыдившись уйти.

Пятеро или шестеро игроков сидели в углу за круглым столом, где были сложены фишки. Взгляды их были прикованы к картам, и один как будто сдавал по одной каждому, с паузами и ставками между. Там были Стив и Вирджинец; остальные — новые лица.

— Не место для любителей, — повторил голос; и теперь я увидел, что это голос сдающего. В его лице читалось то же безобразие, что и в его словах.

— Кто это там говорит? — тихо спросил один из стоявших рядом со мной.

— Трэмпас.

— А кто он такой?

— Ковбой, объездчик лошадей, шулер — да кто угодно.

— С кем это он?

— Похоже, с тем черноволосым парнем.

— Разве это не опасно?

— Полагаю, все мы вот-вот и узнаем.

— У них уже была стычка?

— Не встречались прежде. Трэмпас не любит проигрывать чужаку.

— Он, говорите, из Аризоны?

— Нет, из Виргинии. Недавно вернулся из Аризоны, поглядеть съездил. Прошлый год отправился туда — сменить обстановку. Работает на ранчо Санк-Крик.

И затем сдающий понизил голос ещё сильнее и что-то шепнул на ухо своему соседу, отчего тот ухмыльнулся. После чего оба воззрились на меня.

В углу воцарилась тишина; но теперь человек по имени Трэмпас заговорил снова.

— И десять, — сказал он, отодвигая несколько фишек вперёд. Странно было слышать, как ему удавалось превратить эти слова в личный вызов. Вирджинец смотрел на свои карты. Он мог быть глух.

— И двадцать, — сказал следующий игрок непринуждённо.

Следующий бросил карты на стол.

Теперь была очередь Вирджинца ставить или выйти из игры, и он не сразу заговорил.

Потому заговорил Трэмпас:

— Твоя ставка, сукин ты...

Револьвер Вирджинца оказался в его руке, лежащей на столе, не наведённой ни на кого. И голосом, кротким как всегда, голосом, звучавшим почти лаской, но растягивающим

слова чуть более обычного, так что между каждым словом почти образовывалась пауза, он отдал свой приказ человеку по имени Трэмпас:

— Когда ты так называешь меня — улыбайся.

И он посмотрел на Трэмпаса через стол.

Да, голос был кроток. Но в моих ушах он прозвучал так, будто где-то зазвонил похоронный колокол; и тишина, точно удар, обрушилась на весь просторный зал. Все присутствующие, словно под действием некоего магнетического тока, разом осознали этот перелом. В своём неведении, при полной остановке мыслей, я замер на месте и заметил, как некоторые пригибаются или меняют положение.

— Сиди смирно, — презрительно сказал сдающий человеку рядом со мной. — Не видишь, что ли, он беды не ищет? Он дал Трэмпасу выбор — пойти на попятную или схватиться за железо.

Затем, столь же внезапно и легко, как прежде, комната вышла из этого оцепенения. Голоса и карты, стук фишек, дымок трубок, стаканы, поднимаемые для питья, — этот слой гладкой расслабленности выдавал скрытое под ним не более, чем поверхность моря выдаёт его глубину.

Ибо Трэмпас сделал свой выбор. И выбор этот заключался не в том, чтобы «схватиться за железо». Если он искал знания — он его получил, и не ошибся! Больше ни слова не было сказано о том, что он благоволил называть «любителями». Ни в одной компании черноволосого человека, побывавше-

го в Аризоне, не сочли бы новичком в холодном искусстве самосохранения.

Оставалось одно сомнение: что за человек этот Трэмпас? Публичное отступление — дело незаконченное, по крайней мере для некоторых натур. Я взглянул на его лицо и нашёл его угрюмым, но скорее коварным, чем отважным.

Кое-что прибавилось и к моим познаниям. Ещё раз я услышал в адрес Вирджинца то самое прозвище, каким так свободно пользовался Стив. Те же самые слова, буквально до буквы. Но на этот раз они произвели на свет револьвер.

«Когда ты так называешь меня — улыбайся!» Так я узрел новый пример старой истины: буква ничего не значит, пока дух не вдохнёт в неё жизнь.

Глава III Стив угощает

Минут, наверное, пять я так и стоял, вынося эти безмолвные заключения. До меня никому не было дела. Тихие голоса, азартные игры, стаканы, поднимаемые для питья, — таков был мирный порядок этой ночи. И в мои мысли ворвался голос того самого сдающего, что уже прежде говорил так мудрёно. Настал и его черёд философствовать.

— А что я говорил? — заметил он игроку, которому продолжал сдавать и который продолжал проигрывать ему деньги.

— Когда говорил-то?

— Разве не говорил я, что стрелять он не станет? — продолжал сдающий с самодовольством. — Ты уж приготовился увёртываться. А зря тревожился. Не из тех он, за кого стоит беспокоиться.

Игрок с сомнением поглядел на Вирджинца.

— Что ж, — сказал он, — не знаю, кого у вас тут опасным человеком называют.

— Только не его! — воскликнул сдающий с восхищением. — Он человек храбрый. Это другое дело.

Игрок, кажется, не улавливал этой логики не лучше меня.

— Не храбрый человек опасен, — продолжал сдающий. — Меня трусы пугают. — Он выдержал паузу, чтобы это улеглось у нас в головах.

— Заявился сюда парень во вторник на той неделе, — продолжал он. — Вышло у него недоразумение насчёт выпивки. Так вот, сэр, прежде чем мы успели его уговорить, он покалечил двух совершенно невинных зевак. Они к тому делу отношения имели не больше, чем вы, — пояснил сдающий уже мне.

— Сильно покалечил? — спросил я.

— Одного — да. Тот с тех пор помер.

— А с тем человеком что случилось?

— Так мы ж его уговорили, я ж говорю. Той же ночью и помер. Только не было в этом никакой нужды; вот потому-то я и не люблю бывать там, где трус. Никогда не угадаешь. Он всегда начнёт стрелять раньше, чем понадобится, и неведомо, в кого попадёт. А вот такой, как этот черноволосый малый (сдающий указал на Вирджинца), беспокоить вас никогда не станет. И вот ещё почему беспокоиться о нём не стоит: *будет уже поздно.*

Этими добрыми словами философствования сдающего завершились. Он поделился с нами частицей своего ума. Теперь же он отдал сдаче карт весь свой ум целиком. Я слонялся туда-сюда, не то чтобы желанный, не то чтобы нежеланный гость, наблюдая за игрой ковбоев. За исключением Трэмпаса, среди них едва ли нашлось бы лицо, в котором не было бы чего-то очень располагающего. Здесь сидели крепкие всадники, примчавшиеся из-под палящего солнца и мокрой бури, чтобы немного развлечься. Необузданная юность

коротала здесь досужий час, легко тратя тяжко заработанное жалованье. Городские салуны всплыли у меня в памяти, и я тотчас предпочёл им это заведение в Скалистых горах. Смертей здесь, несомненно, видели больше, но зато и меньше порока, чем в их нью-йоркских двойниках.

А смерть — вещь много более чистая, чем порок. К тому же вовсе не порок был написан на этих диких, мужественных лицах. Даже там, где проступала низость, она не была главенствующей чертой. Отвага, смех, выносливость — вот что я видел на лицах этих ковбоев. И этот самый первый день моего с ними знакомства отмечает во мне некую веху. Ибо нечто в них, и в самой идее их, поразило моё американское сердце, и я не забывал этого никогда, и не забуду до конца дней моих. В плоти их бушевали, буйствуя, наши природные страсти; но в духе их часто таилось истинное благородство, и часто под его неожиданным сиянием их облик обретал героические черты.

Сдающий назвал Вирджинца «черноволосым малым». Портрет этот был написан без прикрас, но верно. У надёжного человека судьи Генри, с которым мне предстояло проехать двести шестьдесят три мили, и впрямь были очень чёрные волосы. Это первое, что бросалось в глаза, если окинуть беглым взглядом стол, за которым он сидел с картами. Но взгляд возвращался к нему снова — притянутый тем невыразимым нечто, что заставляло сдающего так пространно о нём рассуждать.

И всё же «черноволосый малый» подходило и ему, и тому, что он собирался учинить далее. Он замыслил это как истинный и (не побоюсь сказать) вдохновенный бес. И теперь высоко признательному городу Медисин-Боу предстояло стать свидетелем проявления гения.

Он сидел, играя в стад-покер. После приличного периода проигрышей и выигрышей, давшего Трэмпасу все возможные перемены удачи и поправить свои дела, он взглянул на Стива и добродушно сказал:

— Как насчёт койки?

Я стоял у их стола, постепенно уясняя, что в стад-покере куда больше того, что я называл бы красным перцем, чем в нашей восточной игре. Вирджинец продолжил собственный вопрос:

— Койка мне по нраву, — заявил он.

Стив изобразил безразличие. Пари и американский коммивояжёр занимали его куда больше, чем эта игра; но он предпочёл достать пухлые, ярко начищенные золотые часы, обстоятельно свериться с ними и заметить:

— Всего-то одиннадцать.

— Ты забываешь, я из деревни, — сказал черноволосый малый. — У нас куры уже давненько на насесте.

Его солнечный южный выговор вновь зазвучал во всю силу. В той короткой стычке с Трэмпасом его почти вовсе не было слышно. Но разное расположение духа приносит и разные оттенки речи — там, где эти оттенки даны человеку от

природы. Вирджинец обналичил свои фишки.

— А ведь недавно, — сказал Стив, — ты выиграл жалование за три месяца.

— У меня всё ещё двадцать долларов в остатке, — сказал Вирджинец. — Это лучше, чем ногу сломать.

Снова, каким-то безмолвным, масонским образом, большинство в этом салуне почуяло, что назревает нечто. Несколько человек оставили свои игры и подошли поближе к стойке.

— Коли он ещё не улёгся... — задумчиво протянул Вирджинец.

— Я узнаю, — сказал я. И поспешил через зал в тускло освещённую спальню, счастливый оказаться причастным к этому делу.

Все они уже лежали в постелях; а в некоторых койках спали по двое. Как они это выносили... но в те дни я был ещё привередлив. Американец улёгся недавно и всё ещё бодрствовал.

— Думал, вы в магазине ночуете? — сказал он.

Тут я сочинил маленькую ложь и объяснил, что разыскиваю Вирджинца.

— Поищите по притонам, — сказал он. — Эти ковбои нечасто в город выбираются.

Тут я больно обо что-то споткнулся.

— Это моя коробка с «Убийцей чахотки», — пояснил коммивояжёр. — Что ж, надеюсь, этот молодец загуляет до

утра.

— Койка узкая? — осведомился я.

— Для двоих — да. И подушки скверные. Обе нужны, чтобы хоть что-то под головой почувствовать.

Он зевнул, и я пожелал ему приятных снов.

При моей новости Вирджинец тотчас оставил стойку и направился в спальню. Мы со Стивом тихо последовали за ним, а позади нас растянулась вереница ещё нескольких человек, полных ожидания.

— Что это будет? — с любопытством спрашивали они друг у друга. И, узнав о великой новизне предстоящего события, столпились в напряжённом молчании у двери, за которой скрылся Вирджинец.

Мы услышали голос коммивояжёра, наставлявшего своего соседа по постели.

— Не споткнись об «Убийцу», — говорил он. — Принц Уэльский вон только что голень зашиб. — Похоже, мой английский костюм заслужил мне этот титул.

Затем послышалось, как упали сапоги Вирджинца.

— Разберёшь, что он там делает? — прошептал Стив.

Тот явно раздевался. Стремительный треск пуговиц подсказал нам, что черноволосый малый теперь снимает рабочие штаны.

— Да нет, благодарю, — отвечал он на какой-то вопрос коммивояжёра. — Мне без разницы, у стенки ли, с краю.

— Тогда, коли не возражаете, я к стенке...

— Да пожалуйста. — Послышался шорох постельного белья, скрип. — Этой вот подушке нужен южный климат, — заметил далее Вирджинец.

У двери собралось теперь множество слушателей. Тут были и сдающий, и игрок. Присутствовал и хозяин магазина, а в толпе я узнал агента компании «Юнион Пасифик». Собралась изрядная компания, и я ощутил ту трепетную дрожь, что охватывает, когда вот-вот снимут крышку с объектива фотоаппарата, наведённого на группу людей.

— Мне думается, — раздался голос коммивояжёра, — вы бы и сквозь эту подушку почуяли свой нож с револьвером.

— Чую, — отозвался Вирджинец.

— Мне думается, удобнее было бы положить их на стул.

— А мне тогда было бы неудобно.

— Привыкли, стало быть, к их близости?

— Вот именно. Привык. Не хватало бы мне их, и это не давало бы уснуть.

— Что ж, доброй ночи.

— Доброй ночи. Коли начну говорить во сне, или метаться, или ещё что, вы уж знайте, что вам надо...

— Да, я вас разбужу.

— Нет, ради бога, не надо!

— Не будить?

— Не трогайте меня.

— А что мне делать?

— Скорей откатывайтесь на свою сторону. Это долго не

длится. — Вирджинец говорил ободряющим протяжным тоном.

На это последовало краткое молчание, и я услышал, как коммивояжёр раз-другой прочистил горло.

— Это ведь просто кошмар, полагаю? — сказал он после этого покашливания.

— Господи, ну да. Только и всего. И случается не чаще раза в год. Вы уж не подумали ли, что это падучая?

— Ну что вы, нет! Просто хотел знать. Мне уже говорили, что человека небезопасно вот так резко будить посреди кошмара.

— Да, я тоже это слышал. Но мне-то самому это вреда ещё не причиняло. Просто не хотел, чтобы вы рисковали.

— Мне рисковать?

— А, теперь всё будет в порядке, раз вы знаете, как оно бывает. — Протяжный говор Вирджинца был полон уверенности.

Наступила вторая пауза, после которой коммивояжёр сказал:

— Расскажите ещё раз, как оно бывает.

Вирджинец отвечал уже совсем сонно:

— Да просто не давайте своей руке или ноге меня коснуться, коли начну метаться. Индейцы мне тогда снятся. И коли что-то меня в этот миг коснётся, я, чего доброго, хвачусь за нож прямо во сне.

— А, понимаю, — сказал коммивояжёр, прочищая горло.

— Да.

Стив шёпотом изливал восторженные ругательства и в своей радости награждал Вирджинца одним непечатным прозвищем за другим.

Мы вслушивались снова, но больше не последовало ни слова. Напрягая слух, я мог с трудом различить размеренное тяжёлое дыхание, а беспокойное ворчание расслышал вполне отчётливо. Это был несчастный коммивояжёр. Он выжидал. Но ждал он недолго. Снова раздался лёгкий скрип, а за ним лёгкий шаг. Он даже не собирался надевать сапоги в опасном соседстве со сновидцем. По счастливой мысли Медисин-Боу выстроился в две шеренги, образуя проход от двери. И тут коммерческий путешественник забыл про свою «Убийцу чахотки». Он с грохотом рухнул прямо на неё.

Тотчас же с постели раздался ужасающий вой Вирджинца.

И тут произошло всё разом; и как это описать простыми словами? Дверь распахнулась, и наружу вылетел коммерческий путешественник в одних чулках. В одной руке он сжимал ком пиджака и брюк с болтающимися подтяжками, в другой — сапоги. При виде нас его бегство разом прекратилось. Он вытаращился, сапоги выпали у него из рук; и при его непечатном взрыве Медисин-Боу разразился единым, потусторонним воплем и принялся отплясывать с ним танец виргинский рил. Прочие обитатели коек уже повыскакивали из них, одетые главным образом в свои револьверы и готовые к войне.

— Что случилось? — требовали они. — Что случилось?

— Да, полагаю, выпивка теперь за счёт Стива, — сказал Вирджинец со своей койки. И он расплылся в первой широкой улыбке, какую я у него видел.

— Всю ночь буду угощать! — вскричал Стив, пока танец виргинский рил продолжался невзирая ни на что. Коммивояжёр вопил, требуя, чтобы ему дали хотя бы сапоги надеть.

— Сюда, приятель, — был ответ; и другой человек закружил его волчком. — Сюда, красавчик! — кричали ему. — Сюда, дружище! — и его перекидывали по шеренге, точно волан. Внезапно заводилы ворвались в спальню.

— Корми машину! — кричали они. — Корми её!

И, схватив немецкого коммивояжёра, торговавшего побрякушками, они швырнули его в русло танца виргинский рил. Я видел, как он поскакал, точно початок кукурузы под тёркой, и танец поглотил его. Видел, как вслед за ним отправили дребезжащего еврея; а затем туда же бросили железнодорожного служащего и второго еврея; и пока я стоял, как замороженный, собственные мои ноги оторвались от земли. Меня вышвырнуло из комнаты, и я понёсся, точно скачущая пробка, в этот мельничный поток, кружась в свой черёд вслед за остальными под крики: «А вот и Принц Уэльский!» Скоро от моего наряда мало что английского осталось.

Теперь они требовали музыки. Медисин-Боу нахлынул, точно облако пыли, туда, где в зале сидел скрипач; и, подхватив скрипача вместе с танцорами, вновь отхлынул прочь —

уже больший Медисин-Боу, всё разрастающийся. Стив предлагал нам полную свободу заведения, повсюду. Он умолял нас требовать всё, что угодно, и сколько угодно раз. Он приказал обыскать город в поисках новых горожан, готовых помочь ему расплатиться по пари. Но, передумав, велел прихватить с собой бочонки и бутылки. Мы отыскивали трёх скрипачей, и те усердно играли для нас; и так мы отправились обходить все хижины и дома, где по какому-то чуду ещё могли спать люди. Первый же обитатель высунул голову, чтобы отказать. Но такую возможность предвидел хозяин магазина. Этот с виду весьма почтенный человек теперь выволок из своей лавки какое-то приспособление, с помощью Вирджинца. Ковбои заплотировали, ибо знали, что это такое. Человек в окне тоже узнал это устройство и, издав стон, немедленно вышел и присоединился к нам. Что это было, я тоже узнал через несколько минут. Ибо мы наткнулись на дом, где обитатели не подавали никаких признаков жизни ни на наших скрипачей, ни на наш стук. И вот адскую машину пустили в ход. Части её оказались не более чем пустым бочонком и доской. Какой-то горожанин сообщил мне, что скоро я обрету новое представление о шуме; и я приготовился к чему-то суровому в духе пороховых зарядов. Но Вирджинец с хозяином магазина уселись теперь на землю, придерживая бочонок, а ещё двое опустились, по-видимому, чтобы качать доску взад-вперёд поверх него, как на качелях. Но бочонок и доска были натёрты канифолью, и они принялись водить до-

ской туда-сюда по бочонку. Знаете ли вы звук, что издаёт на узкой улице телега, гружённая полосами железа? Этот звук — колыбельная в сравнении с тем шатким, ослепляющим рёвом, что поднимался от бочонка. Попробуй вы такое в родном городе — вас бы не просто арестовали, вас бы повесили, и все были бы рады, а священник отказался бы вас хоронить. Голова моя, зубы, весь костяк мой заплясали и застучали от этого гула, и из дома, точно капли, выжатые из лимона, выскочили мужчина с женой. Времени им дано не было. Их подхватило вместе с остальными; и, будучи изгнаны из собственной постели, они теперь с наибольшей яростью набросились на приступ оставшихся домов Медисин-Боу. Всем полагалось выйти наружу. Многие теперь скакали во весь опор на лошадях в прерию и обратно, пока шествие с доской и бочонком продолжало свою работу, а скрипачи играли без умолку.

Внезапно наступила тишина. Я не видел, кто принёс эту весть; но между нами пронёсся слух, что какая-то женщина — жена машиниста, что живёт у водокачки, — тяжело больна. К ней уже приезжал доктор из Ларами. Инженера этого все любили. Доски и бочонка больше не было слышно. Всадники узнали новость и укротили свои забавы. Медисин-Боу постепенно расходился по домам. Я видел, как закрывались двери, гасли огни; видел, как немногие полуночники вновь собрались за карточными столами, а коммивояжёры готовились ко сну; хозяин магазина (более почтенного вида чело-

века не сыскать) выразил надежду, что мне будет удобно на его одеялах; и я слышал, как Стив уговаривал Вирджинца выпить ещё стаканчик.

— Давно мы с тобой не виделись, — говорил он.

Но Вирджинец, тот самый черноволосый малый, что затеял всю эту кутерьму, отказал Стиву.

— Мне надо оставаться в здравом уме, — таково было его оправдание перед другом. И друг поглядел на меня. Отсюда я заключил, что надёжный человек судьи находит меня помехой своему празднику. Но если он так и думал, мне он этого никогда не показывал. Его послали встретить чужака и благополучно довести до Санк-Крика, и этому поручению он не позволил бы поставить под угрозу никакому соблазну. Он кивнул мне на прощание.

— Коли что для вас сделать смогу — скажете.

Я поблагодарил его.

— Какой приятный был вечер! — прибавил я.

— Рад, что вам так показалось.

Вновь его манера воздвигла преграду моим попыткам сближения. Пусть я и видел его только что вовсю резвящимся, — это были дела, которые он не желал со мной обсуждать.

Медисин-Боу был тих, пока я пробирался к своим одеялам. Так тих, что сквозь воздух доносились глубокие гудки товарных поездов из-за горизонта, через многие мили безмолвия. Я миновал ковбоев, которых полчаса назад видел скачущими и горланящими, теперь укутанных в одеяла под

открытым сияющим небом.

— В каком же я мире? — сказал я вслух. — Неужели на этой же самой планете есть Пятая авеню?

И я уснул, размышляя о своей родной земле.

Глава IV В глубь скотоводческой страны

Утро уже давно бодрствовало в Медисин-Боу, когда я наконец покинул свои одеяла. Новый день и его заботы закипали вокруг меня прямо в магазине — главным образом у бакалейного прилавка. Мануфактурные товары спросом не пользовались. Рано вставшие ковбои снова разъезжались по своим делам; а те, у кого после ночного гулянья ещё оставались доллары, тратили их на табак, патроны или консервы для дороги до дальних стоянок. Спрашивали сардины, паштет из курицы, ветчину с приправами — пища, на первый взгляд, изысканная для этих сынов полыни. Но готовая, переносная еда неизбежно играет большую роль в освоении новых земель. Эти пикниковые баночки и жестянки были первыми трофеями, которые Цивилизация обронила на девственную почву Вайоминга. Ковбой ныне ушёл в незримые миры; ветер развеял белый пепел его костров; но пустая жестянка от сардин по сей день ржавеет по лицу западной земли.

Так, прикрыв глаза, я наблюдал за продажей этих банок и успел свести близкое знакомство с неизменной маркой ветчины — тем ярлыком с чёртом, чьи рога, копыта и хвост были обозначены весьма выразительно, всё выкрашено в знойный, чрезмерный багрянец. И каждый всадник, совершив

покупку, волочил шпоры по полу, а вскоре стук копыт его коня становился последним, что о нём напоминало. Сквозь моё дремотное внимание пробивались обрывки разговоров, а порой и полезные крупницы знания. Так, например, я узнал истинную цену помидоров в этих краях. Один парень купил две банки.

— Медоу-Крик уже пересох? — заметил хозяин.

— Дней десять как пересох, — сообщил ему молодой ковбой. И оказалось, что по дороге, куда он направлялся, воды не будет до самого заката, потому что этот Медоу-Крик перестал течь. Помидоры были ему нужны для питья. С тех пор они не раз освежали меня самого.

— Пива нет? — предложил хозяин.

Парень содрогнулся всем лицом.

— Не поминай его при мне! — воскликнул он. — Меня от завтрака вывернет. — Он бросил серебряные монеты на прилавок. — Зарёкся на три месяца, — заявил он. — Буду чист, как первый снег!

И вышел за дверь, звеня шпорами, чтобы проехать семьдесят пять миль. Ещё три месяца тяжёлой работы под открытым небом — и он снова въедет в город, а его молодая кровь будет кричать во весь голос о своём.

— Премного благодарен, — раздался новый голос, вырвавший меня из новой дрёмы. — Ей нынче утром полегче, после лекарства. — Это был машинист, чья больная жена принесла в Медисин-Боу вчерашнее затишье. — Отдам ей

эти цветы, как проснётся, — прибавил он.

— Цветы? — повторил хозяин.

— Не вы ли оставили тот букет у нашей двери?

— Жаль, не додумался.

— Она любит смотреть на цветы, — сказал машинист. И вышел неспешно, не успев толком отблагодарить. Он тотчас вернулся вместе с Вирджинцем: за лентой шляпы Вирджинца торчали два-три цветка.

— Не о чем и говорить, — произносил южанин, смущённый всяким выражением благодарности. — Кабы мы вчера знали...

— Вы её ничуть не потревожили, — вставил машинист. — Ей нынче утром легче. Расскажу ей про эти цветы.

— Да не о чем говорить, — снова возразил Вирджинец, почти сердито. — Цветочки выглядели свежо, вот я и сорвал. — Взгляд его тут упал на меня, лежащего на прилавке. — Полагаю, завтрак уже кончается, — заметил он.

Вскоре я был у умывального корыта. Только полседьмого, но многие успели побывать здесь раньше меня — один взгляд на роlikовое полотенце сказал мне об этом. Просить у хозяйки чистое я постеснялся и потому отыскал свежий носовой платок и совершил скромный туалет. Посреди этого занятия ко мне один за другим присоединились коммивояжёры, и они безо всяких колебаний пользовались опозоренным полотенцем. В этом смысле у них было передо мной преимущество: грязь была им нипочём.

Последними поднявшимися в Медисин-Боу, мы сели завтракать вместе; и они попытались было проявить некоторую лёгкую фамильярность с хозяйкой. Но эти опыты потерпели неудачу. Глаза её не видели, а уши не слышали их. Она подавала кофе и бекон с такой степенностью, какую едва ли могла бы превзойти сама благопристойность. И всё же неблагопристойность бесшумно таилась в ней самой, повсюду; нельзя было указать, в чём именно, — она была слита с самой её сущью. Молчание было её очевидной привычкой и её оружием; но американский коммивояжёр обнаружил, что она умеет говорить по существу, когда в том настаёт нужда. За едой он расхвалил её золотистые волосы. Они и вправду были золотые и стоили высокого комплимента, но его манера ей не понравилась. Всё же она пропустила это мимо, ограничившись холодным взглядом. Но на прощание, расплачиваясь за еду, он зашёл слишком далеко.

— Жаль, что это наша последняя встреча, — сказал он; и, не получив ответа, спросил: — Вы вообще путешествуете? Куда бы я ни ехал, там всегда найдётся место для двоих.

— Тогда поищите себе другого осла, — спокойно ответила она.

Я порадовался, что не попросил у неё чистого полотенца. От коммерческих путешественников я теперь отделился и побрёл в одиночестве, приятно бесцельно. Было семь часов. Медисин-Боу стоял безмолвный и обезлюдевший. Ковбои растаяли без следа. Жители сидели по домам, занятые

делами или бездельем утреннего часа. Никакого движения не было заметно. Ни одна ракушка на сухом песке не могла бы лежать неподвижнее, чем Медисин-Боу. Заглянув в магазин, я увидел хозяина, сидящего с погасшей трубкой. Заглянув в салун, я увидел, как сдающий немо сдаёт карты самому себе. В небе не было ни облачка, ни птицы, а на земле замерла в неподвижности даже самая лёгкая соломинка. Один раз я увидел Вирджинца у открытой двери, где золотоволосая хозяйка стояла, беседуя с ним. Порой я бродил по городу, порой лежал в полыни за его пределами, предаваясь дневным грёзам. Вдали виднелись бледные стада антилоп, а поблизости сидели, важно разглядывая меня, степенные луговые собачки. Стив, Трэмпас, буйство всадников, мой пропавший сундук, дядюшка Хьюи с его несостоявшимися невестами — всё это слилось в моих мыслях в одно огромное, восхитительное безразличие. Это было точно медленно плыть наугад в океане — гладком, не слишком холодном и не слишком тёплом. И не успел я опомниться, как пять ленивых, неприметных часов минули таким образом. Показался поезд «Юнион Пасифик», словно явившийся с забытых берегов.

Его приближение было беззвучным и долгим. Я без труда успел на станцию и на платформу прежде, чем он закончил набирать воду у бака. Он подтянулся, сделал короткую остановку, я увидел, как из него вынесли мой сундук, и затем он тронулся прочь так же безмолвно, как и появился, дымя и

убывая в неведомую даль.

Рядом с моим сундуком стоял ещё один, расточительно перевязанный белой лентой. Трепещущие банты привлекли моё внимание, и тут я вдруг увидел совершенно новое для себя зрелище. Вирджинец, чуть подальше на платформе, согнулся пополам от хохота. Приятно было узнать, что при достаточной причине он способен смеяться вот так; до сих пор улыбка была пределом внешнего его веселья. Тут в мою шляпу полетел рис, и по платформе зашипели фонтаны риса. Все мужчины, что ещё оставались в Медисин-Боу, появились точно по волшебству, и воздух душило ещё больше риса. Сквозь общий гвалт треснутый голос произнёс: «Не попадите ей в глаз, ребята!» — и дядюшка Хьюи гордо пронёсся мимо меня под руку с настоящей женой. Она вполне могла бы сойти ему за внучку. Они тотчас сели в экипаж. Сундук подняли следом. И под крики, рис, брошенные башмаки и щедрые пожелания счастья пара выехала из города — дядюшка Хьюи, взвизгивая, понукал лошадей, а невеста без тени смущения махала на прощание.

Весть пришла по проводам из Ларами: «Дядюшка Хьюи на этот раз добился своего. Ожидайте его сегодняшним номером два». И Медисин-Боу его ожидал.

Много слов было сказано вслед отъезжающей новобрачной паре.

— Кто она?

— Что он ей дал взамен?

— У него золотая жила выше по Медвежьему ручью.

И, наговорившись и наспорившись, Медисин-Боу вернулся к своему обеду.

Эта трапеза стала для меня здесь последней надолго. Ответственность Вирджинца теперь возобновилась; долг вновь понуждал надёжного человека судьи заботиться обо мне. Сам он ни разу не искал моего общества по собственной воле; его неприязнь к тому, чем он меня, видимо, считал (я так толком и не понял, чем именно), оставалась непоколебимой. Мне думается, дело одежды и речи не должно вызывать в нашей демократии столько недоверия; вора считают невиновным, пока не доказано обратное, а вот накрахмаленный воротничок осуждают с первого взгляда. Совершенную учтивость и предупредительность я, безусловно, получал от Вирджинца, только ни слова товарищества. Он запряг лошадей, забрал мой сундук и дал мне совет насчёт припасов на дорогу — чего-нибудь повкуснее того, что мы найдём по пути. Мысль была разумной, и я купил изрядный свёрток лакомств, чувствуя, что он презирает и их, и меня самого. И так я занял место рядом с ним, гадая, о чём же мы будем разговаривать все двести шестьдесят три мили.

Прощаться в те дни в Скотоводческой Стране было не принято. Знакомые провожали наш отъезд кивком или во все никак, и ближе всего к «прощайте» подходило хозяйское «покудова». Но я успел заметить одно прощание, произнесённое без единого слова.

Когда мы проезжали мимо харчевни, штора бокового окна поднялась, и хозяйка бросила на Вирджинца последний взгляд. Губы её были едва приоткрыты, и ни одни женские глаза не могли бы яснее сказать: «Я — одно из твоих владений». Она забыла, что её могут увидеть. Взгляд её встретился с моим, и она отступила в полумрак комнаты. Какой взгляд достался от него ей, если он вообще взглянул на неё в этот слишком людный миг, я сказать не мог. Глаза его, казалось, были прикованы к лошадям, и правил он с той же властной лёгкостью, с какой вчера набросил лассо на дикого мустанга. Мы миновали валы Медисин-Боу — густые груды и каймы консервных банок, покатые холмы бутылок, выброшенных из салунов. Солнце ударяло по ним сотней сверкающих искр. И через мгновение мы оказались в чистой прерии, среди луговых собачек и бледных стад антилоп. Великий, недвижный воздух омывал нас, чистый, как вода, и крепкий, как вино; солнечный свет заливал мир; а на груди фланелевой рубахи Вирджинца лежала длинная золотая нить волоса! Шумный американский коммивояжёр потерпел поражение, но этот безмолвный вольный стрелок одержал победу без всякого труда.

Мы проехали, должно быть, миль пять в молчании, теряя и вновь обретая горизонт среди нескончаемых волн земли. Затем я оглянулся, и вот он, Медисин-Боу, казалось, в двух шагах позади нас. Прошло добрых полчаса, прежде чем я оглянулся снова, — и вот он, всё тот же Медисин-Боу.

Размером поменьше, признаю, но виден во всех подробностях, точно рассматриваемый в перевёрнутый бинокль. Восточный экспресс подходил к городу, и я заметил белый пар от его гудка; но когда звук долетел до нас, поезд уже почти остановился. И в ответ на моё замечание об этом Вирджинец сообразоволил заметить, что в Аризоне это выражено ещё сильнее.

— Приехал как-то в Аризону человек, — сказал он, — с одним из этих телескопов, изучать небесные тела. Янки был, сэр, и на диво толковый. И вот сидим мы ночью, поджидаем каких-то там завалящих падучих звёзд, которые он обещал, а я вижу — огни какие-то бойко движутся через долину, — и кричу. А он мне: да это ж просто поезд. А я ему: не знал, говорю, что с вашего места вагоны так ясно видать. «Видать-то видать, — говорит он мне, — только вагоны эти вчерашней ночи».

Тут Вирджинец сурово прикрикнул на одну из лошадей.

— Конечно, — продолжал он затем, обращаясь ко мне, — этот янки не совсем то имел в виду, что сказал. — А ну, Бак! — снова оборвал он себя, прикрикнув на коня. — Но в Аризоне, сэр, — продолжал он, — атмосфера уж больно обманчивая. Другой человек мне сказывал, будто видел, как дама подмигнула ему одним глазом, а сам он был от неё в двух минутах хорошей скачки.

На этот раз Вирджинец пустил в ход кнут на Бака.

— И какое же действие, — осведомился я с серьёзностью,

равной его собственной, — оказывает это удивительное укорачивание расстояний на кварту виски?

— Коли она снаружи вас, сэр, никакое расстояние до неё не покажется слишком большим.

Он взглянул на меня со взглядом, в котором теперь было больше доверия, чем прежде он мог ко мне питать. Я сделал один шаг к его расположению. Но предстояло сделать ещё много. В этот день он предпочитал собственные мысли моей беседе, и так было все дни этого первого путешествия; тогда как я бы куда охотнее предпочёл его беседу собственным мыслям. Он отклонил несколько моих попыток заговорить о дядюшке Хьюи так, что у меня недостало духу коснуться и Трэмпаса, и того холодного, краткого столкновения, что могло высечь искру смерти. Трэмпас! Я успел позабыть о нём за этой начавшейся молчаливой ездой. Я задумался, доведётся ли мне ещё увидеть его, или Стива, или кого-либо из тех людей вновь. И это раздумье я произнёс вслух.

— В этих краях наперёд не скажешь, — отозвался Вирджинец. — Люди приходят легко, и уходят легко. В обжитых местах, там, в Штатах, даже у бедняка обычно есть дом. Пусть хоть бочка на пустыре — этот малый будет держаться того пустыря, и коли понадобится — всегда его там сыщешь. А здесь, среди полыни, дом человека — это часто просто седельное одеяло. Не успеешь оглянуться — он уже перебрался в Техас.

— Вы и сами успели сменить немало мест, — заметил я.

Но эти слова закрыли ему рот.

— Поглядел я на страну немного, — сказал он, и мы снова замолчали.

Позвольте мне, впрочем, сказать здесь: он отправился «поглядеть на страну» в четырнадцать лет; и к нынешним своим двадцати четырём годам успел повидать Арканзас, Техас, Нью-Мексико, Аризону, Калифорнию, Орегон, Айдахо, Монтану и Вайоминг. Всюду он сам о себе заботился и выживал; и его крепкое сердце ещё не пробудилось ни к какой тоске по дому. Позвольте также сказать вам, что он был одним из тысяч, кочующих и живущих так же, но (как вы ещё узнаете) одним на тысячу.

Медисин-Боу не вечно оставался в виду. Когда я в следующий раз вспомнил о нём и оглянулся, не было уже ничего, кроме дороги, по которой мы приехали; она лежала, точно кильватерный след корабля, через огромную земную зыбь. Нас поглотило безбрежное одиночество. Незадолго до заката показалась хижина; здесь мы провели свою первую ночь. Двое молодых людей жили тут, приглядывая за скотом. Они любили животных. У конюшни на цепи нервно бегал по кругу койот, а то садился на задние лапы и неласково огрызался на подачки с едой. Ручной молодой лось расхаживал туда-сюда через дверь хижины и за ужином попытался столкнуть меня со стула. Привыкший к людям горный баран упражнялся, прыгая с земли на крышу. Стены хижины были оклеены цирковыми афишами, а на полу лежали шкуры

медведя и серебристой лисы. До девяти часов один из хозяев беседовал с Вирджинцем, а другой весело наигрывал на концертине; затем мы все улеглись спать. Воздух был точно декабрьский, но в своих одеялах и под шкурой бизона я не мёрз и наслаждался тишиной Скалистых гор. Отправившись перед завтраком, на восходе, умываться, я нашёл в ведре ледяные иглы. И всё же трудно было помнить, что эта тихая, открытая, великолепная глушь (без единой видимой отсюда вершины) лежит на высоте в шесть тысяч футов. А когда завтрак закончился, декабря уже не осталось и следа; и к тому времени, когда мы с Вирджинцем проехали десять миль по своему пути, настал июнь. Но всегда, каждый вздох мой был чист, как вода, и крепок, как вино.

В этот день мы не встретили ни единой живой души. Какой-то дикий скот бросался к нам и от нас; антилопы глядели на нас со ста ярдов; койоты крадучись бежали сквозь полынь, чтобы наблюдать за нами с холма; за полуденной трапезой мы убили гремучую змею и настреляли молодых полынных куропаток, которые оказались отменны за ужином, зажаренные на нашем костре.

К половине девятого мы уже спали под звёздами, а к половине пятого я пил кофе, дрожа от холода. Бака, коня, на это второе утро оказалось трудно поймать. Взбудоражили ли его какие-то холмы, в которых мы теперь оказались, или лучшая здешняя вода вызвала брожение в его нраве, сказать не берусь. Но к тому времени, как мы наконец надёжно его запряг-

ли — или, вернее, ненадёжно запрягли, — мне стало жарко, точно в июле. Ибо Бак, на таинственном языке лошадей, научил дурному и своего товарища по упряжке, и около одиннадцати часов оба они, спознавшись коварными головами, решили сломать нам шеи.

Мы проезжали, как я уже сказал, через гряду полугор. Это была небольшая местность, где росли деревья, текла вода, а равнины на время скрывались из виду. Дорога местами круто шла в гору, а местами были такие места, откуда можно было упасть и покатиться кубарем на дно среди камней. Но Бак, по какой-то причине, счёл эти возможности недостаточно хороши для себя. Он выбрал момент подраматичнее. Мы выехали из узкого каньона напрямик на пятьсот голов скота и нескольких ковбоев, клеймящих телят у костра в загоне. Зрелище, знакомое Баку наизусть. Он тотчас же обошёлся с ним как с ужасающим явлением. Я увидел, как он лягнул на семь ладов; увидел, как Маггинс лягнул на пять ладов; наше неистовое движение хлестнуло мой хребет, точно кнутом. Я вцепился в сиденье. Что-то жалобно звякнуло. Это был тормоз.

— Не прыгайте! — приказал надёжный человек.

— Нет, — сказал я, пока с меня слетала шляпа.

Помощь была слишком далеко, чтобы хоть что-то для нас сделать. Мы невредимо промчались через часть стада, я увидел мелькающие рога и спины. Осыпалась земля, и мы рухнули вниз, в воду, качавшуюся среди камней, и снова вверх,

сквозь новую осыпающуюся землю. Я услышал треск и увидел, как мой сундук приземляется в ручей.

— Там ему безопаснее, — сказал надёжный человек.

— Верно, — сказал я.

— Мы за ним вернёмся, — сказал он, не сводя глаз с лошадей и держа ногу на искалеченном тормозе. Впереди был сухой овраг, и негде было развернуться. Дальний его край был террасирован скалой. Нам оставалось попросту опрокинуться назад, если мы не опрокинемся вперёд первыми. Он направил лошадей прямо через него и у самого дна с поразительным мастерством развернул их вправо, вдоль твёрдо запёкшейся грязи. Они пронесли нас вдоль русла до самой головы оврага и сквозь заросли трепещущих осин. Тонкие деревцагнулись под нашим натиском и хлестали повозку, точно бастонадой, пока мы проезжали над ними. Но их ветви опутали ноги лошадей, и мы благополучно остановились посреди беседки из листвы.

Я поглядел на надёжного человека и смутно улыбнулся. Он с минуту разглядывал меня.

— Полагаю, — сказал он, — чувствуете вы себя примерно на полпути между «О господи!» и «Слава богу!».

— Точно так, — сказал я, пока он слезал на землю.

— Ничего не сломано, — сказал он после тщательного осмотра. И позволил себе истинно виргинское ругательство. — Джентльмены, тише! — тихо пробормотал он, глядя на меня своими серьёзными глазами. — Один раз мне таки бы-

ло страшновато. А ты, Бак, — продолжал он, — иные бы тебя сейчас так отдубасили, что ты бы уж не понял, конь ты или железнодорожная катастрофа. Я бы и сам это сделал, да не поможет.

Я сказал теперь ему, что, полагаю, он спас нам обоим жизнь. Но он терпеть не мог прямых похвал. Он что-то пробурчал в ответ и вывел лошадей из чащи. Бак, объяснил он мне, конь хороший, и Маггинс тоже. Оба вообще-то ведут себя славно, потому судья и послал их за мной. Но у этих мустангов бывают свои дурные дни. Дурной день выпадает не часто; но когда на мустанга находит блажь, ему нужно устроить свой загул. Теперь Бак, пожалуй, месяца два будет вести себя так, как подобает коню. «Они прямо как люди», — заключил Вирджинец.

Подскакали несколько ковбоев — поглядеть, сколько кусков от нас осталось. Мы спустились обратно с холма; и когда добрались до моего сундука, удивительно было видеть, какое расстояние покрыла наша понёсшая упряжка. Отыскалась и моя шляпа, и мы продолжили путь.

Бак и Маггинс были образцами благоразумия до конца гор. Станным мне показалось в тот вечер на стоянке, что Баку снова позволили пастись на свободе, вместо того чтобы привязать его на верёвку, пока мы спим. Но это было моё невежество. При той тяжёлой работе, что он доблестно нёс, коню требовалось больше пастбища, чем позволяла длина верёвки. Потому его отпустили, а утром мы почти без труда

его поймали.

К полудню мы переправились через реку, и далеко на север от нас показались горы Боу-Лег, бледные в ярком солнце. Санк-Крик стекал с их западного склона, и наши двести шестьдесят три мили начинали казаться мне сущим пустяком. Бак и Маггинс, думаю, отлично знали, что завтра увидят родной дом. Они узнавали эти края; и один раз свернули на развилке дороги. Вирджинец довольно резко осадил их.

— К Балааму захотели? — осведомился он у них. — А я-то думал, у вас ума побольше.

Я спросил:

— Кто такой Балаам?

— Мучитель лошадей, — ответил ковбой. — Ранчо его вон там, на Бьютт-Крик. — И он указал туда, где расходящаяся дорога таяла в пространстве. — Судья купил у него Бака и Маггинса весной.

— Так он мучает лошадей? — повторил я.

— Так это слово по всей округе зовётся. Человек, что делает с конём то, что, говорят, делает Балаам, когда взбешён, недостоин зваться человеком. — Вирджинец сообщил мне некоторые подробности.

— О! — я едва не вскрикнул от ужаса перед этим, и ещё раз: — О!

— Он бы, пожалуй, и с Баком то же самое сделал, как только тот перестал бы нестись. Поймай я человека за этим...

Нас прервал степенного вида путник верхом на столь же

степенном коне.

— Доброе утро, Тейлор, — сказал Вирджинец, останавливаясь для разговора. — Не слишком ли далеко забрели от своего выгона?

— Ну и хорош же ты! — отозвался мистер Тейлор, останавливая коня и приветливо улыбаясь.

— Скажи мне то, чего я не знаю, — парировал Вирджинец.

— Обыграть человека в карты и обчистить его, — продолжал мистер Тейлор. — О, весть-то вперёд тебя добралась!

— Трэмпас тут, что ли, объяснялся? — сказал Вирджинец с усмешкой.

— Так звали твою жертву? — шутливо сказал мистер Тейлор. — Нет, не он весть принёс. Слышь, а что ты вообще натворил?

— Стало быть, дошло уже и до этих мест, — пробормотал Вирджинец. — Что ж, не стоило оно такой широкой огласки. — И он изложил Тейлору голые факты, пока я сидел, дивясь заразительной силе Молвы. Здесь, через эту безгласную землю, эту пустыню, этот вакуум, она распространялась, точно перемена погоды. — А у вас там что нового? — заключил Вирджинец.

На лице мистера Тейлора отразилась значительность.

— Медвежий ручей собирается школу строить, — сказал он.

— Батюшки! — протянул Вирджинец. — Это ещё зачем?

Мистер Тейлор был к тому времени уже несколько лет как женат.

— Просвещать потомство Медвежьего ручья, — ответил он с гордостью.

— Потомство Медвежьего ручья, — задумчиво повторил Вирджинец. — Что-то не припомню я там особого потомства. Разве что белохвостые олени, да порядочно зайцев.

— Свинтоны перебрались сюда из Драйбоуна, — сказал мистер Тейлор, всё так же серьёзно. — Сочли, что там не место для малых детей. И дядюшка Кармоди — у него их шестеро, и Бен Доу. И Уэстфолл теперь семьянин, и...

— Джим Уэстфолл! — воскликнул Вирджинец. — Он — семьянин! Что ж, коли эта Территория так и будет наполняться семьянинами да пустеть от дичи, я, пожалуй...

— Сам женишься, — подсказал мистер Тейлор.

— Я! Да мне до брачного возраста далеко ещё. Нет, сэр! А вот дядюшка Хьюи, знаешь ли, наконец до него дожил.

— Дядюшка Хьюи! — воскликнул мистер Тейлор. Этого он ещё не слышал. Молва весьма своенравна. И Вирджинец рассказал ему, а семьянин так и закачался в седле.

— Стройте свою школу, — сказал Вирджинец. — Дядюшка Хьюи вполне созрел, чтобы подписаться под любым таким начинанием. Приглядел уже школьную учительницу?

Глава V Появление женщины

— Мы принимаем меры, — сказал мистер Тейлор. — Медвежий ручей не станет торопиться со школьной учительницей.

— Верно, — согласился Вирджинец. — Детям вовсе не к спеху.

Но мистер Тейлор, как я уже упоминал, был серьёзным семьянином. Задача воспитания его детей могла представляться ему только в одном свете — трезвом. — Медвежий ручей, — сказал он, — не хочет повторить историю, что вышла в Кэлефе. Нельзя нанимать невежду.

— Верно! — снова согласился Вирджинец.

— И вертихвостку какую не хотим, — сказал мистер Тейлор.

— Пусть глаз с классной доски не сводит, — мягко сказал Вирджинец.

— Что ж, можем подождать, пока не найдётся товар с гарантией, — сказал мистер Тейлор. — Так мы и поступим. В этом году можно и не спешить, и незачем. Никто из детей ещё не так взрослый, да и школу ещё построить надо. — Тут он вытащил из кармана письмо и поглядел на меня. — Вы не знакомы с мисс Мэри Старк Вуд из Беннингтона, штат Вермонт? — осведомился он.

Знакомство наше в ту пору ещё не состоялось.

— Мы её и рассматриваем. Она переписывается с миссис Балаам. — Тейлор протянул мне письмо. — Она это миссис Балаам написала, а та рассудила, что лучше всего дать мне взглянуть да самому судить. Я его как раз миссис Балаам обратно везу. Может, скажете своё мнение, похоже ли оно на письма, что там, на Востоке, пишут?

Послание было по большей части деловое, но с личным оттенком и написано свободно. Не думаю, чтобы писавшая ожидала, что его выставят напоказ, как документ. Автор письма очень желала бы повидать Запад. Но не могла позволить себе этого желания ради одного удовольствия, иначе давно бы приняла любезное приглашение погостить на ранчо миссис Балаам. Учительство было тем, чем она хотела бы заняться, будь она к тому пригодна. «С тех пор как мельницы прогорели, — писала автор, — все мы взялись за дело и много чего перепробовали, чтобы матушка могла и дальше жить в старом доме. Да, жалованье — искушение немалое. Но, милая моя, разве Вайоминг не вреден для цвета лица? И могу ли я подать на них в суд, если моё пострадает? Пока им ещё восхищаются. Могла бы представить по меньшей мере одного свидетеля мужского пола в доказательство!» Затем автор снова становилась деловой. Даже если бы она и решилась оставить дом, она вовсе не была уверена, что сумеет учительствовать. Не считала она правильным и занимать место, к которому не имела опыта. «Я очень люблю детей, особенно мальчиков, — продолжала она. — С моим маленьким

племянником мы прекрасно ладим. Но вообразите, если целая скамья мальчишек примется засыпать меня вопросами, на которые я не сумею ответить! Что мне тогда делать? Ведь не отшлёпаешь же их всех, сами понимаете! А матушка говорит, что мне вообще нельзя никого учить правописанию, раз я пишу слово «честь» без второй буквы».

В целом это было письмо, которое я мог с уверенностью назвать для мистера Тейлора вполне «похожим» на письма, какие пишут в моей части Соединённых Штатов. Подписано оно было так: «Ваша искренне преданная старая дева, Молли Старк Вуд».

— Я никогда не видал, чтоб «честь» с двумя буквами писали, — сказал мистер Тейлор, чью не слишком просвещённую голову некоторые места письма миновали стороной.

Я пояснил ему, что некоторые люди старого закала до сих пор пишут это слово так.

— Медвежьему ручью что так, что этак — всё едино, — сказал мистер Тейлор, — лишь бы во всём остальном подходила.

Вирджинец между тем задумчиво просматривал письмо, и внимание его вдруг пробудилось.

— «Ваша искренне преданная старая дева», — медленно прочёл он вслух.

— Полагаю, это значит, что ей все сорок, — сказал Тейлор.

— Полагаю, ей около двадцати, — сказал Вирджинец. И

снова погрузился в задумчивость над листком, который держал.

— Почерк у неё не такой, какой я видал прежде, — продолжал мистер Тейлор. — Но Медвежий ручей против этого не станет возражать, лишь бы она знала арифметику, да Джорджа Вашингтона, да всё такое прочее.

— Полагаю, не такая уж она и «искренне преданная старая дева», — предположил Вирджинец, всё ещё глядя на письмо, всё ещё держа его, точно некий талисман.

Записал ли хоть один ботаник, что такое семя любви? Записано ли где-нибудь, сколькими способами это семя может быть посеяно? В каких различных паутинных сосудах способно оно переплыть широчайшие пространства? На какие несхожие почвы способно оно упасть, жить неведомо для всех и дожидаться своего часа для цветения?

Вирджинец вернул Тейлору листок почтовой бумаги, на котором девушка говорила так, как не говорили женщины, которых он знал. Если глаза его когда-либо видели подобных девиц, то взгляды их никогда не встречались; а если подобные девицы когда-либо заговаривали с ним, то речь эта велась с установленной дистанции. Но здесь был вольный язык, вовсе для него новый. Однако, как оказалось, он вовсе не был чужд его пониманию — в отличие от понимания мистера Тейлора.

Мы поехали дальше, миля, быть может, ещё две. Прежде он был полон слов, но теперь едва отвечал мне, так что мол-

чание опустилось на нас обоих. Проехали мы, должно быть, целых десять миль, прежде чем он заговорил по собственной воле.

— Настоящая старая дева про свою долю так легко не заговорит, — заметил он. И тут же процитировал фразу про цвет лица: — «Могу ли я подать на них в суд, если моё страдает?» — и усмехнулся про себя этому, качая головой. — Что бы ей делать на Медвежьем ручье? — сказал он затем. И наконец: — Полагаю, тот свидетель её в Вермонте и задержит. И матушка её так и будет жить в старом доме.

Так высказался ковбой, вовсе не подозревая, что семя переплыло широкие пространства и теперь дожидается своего часа в его сердце.

На следующий день мы добрались до Санк-Крика. Радужный приём судьи Генри и его супруги стёр бы память о всех тяготах, что я перенёс, — если бы я хоть какие-то перенёс.

Некоторое время я почти не видел Вирджинца. Он вернулся к своей природной манере называть меня иногда «сэр» — привычке, вовсе не принятой в этом краю равенства. Мне было жаль. Общая наша опасность во время бегства Бака и Маггинса привела нас к близости, которой, я надеялся, суждено было продлиться. Но, думаю, дальше этого дело бы не пошло, если бы не некая особа — я вынужден назвать её именно особой. И поскольку я обязан ей тем, что приобрёл друга, чьё предубеждение против меня иначе, возможно, никогда не удалось бы преодолеть, я расскажу вам её малень-

кую историю — и о том, как её злоключения и её судьба привели нас с Вирджинцем к взаимному расположению. Не будь её, вероятно, я бы и не услышал так много истории о школьной учительнице, и о том, как эта дама в конце концов оказалась на Медвежьем ручье.

Глава VI Эмли

Моей особой была курица, и жила она на ранчо Санк-Крик.

Ранчо судьи Генри славилось несколькими роскошествами. У него, например, было молоко. В те годы его собратья-владельцы своих ранчо нередко имели тысячами голов скота, но ни капли молока, кроме сгущённого. Оттого и масла у них не было. У судьи было его вдоволь. Следующим по редкости после масла и молока в этих скотоводческих краях были яйца. Но у моего хозяина водились куры. Было ли это из-за его давнего увлечения петушиными боями или из-за миссис Генри, сказать не берусь. Знаю только, что, обедая в другом месте, я обычно заставлял лишь вечную «свиную грудинку», бобы да кофе; тогда как на Санк-Крике омлет и заварной крем бывали частыми гостями. Проезжий путник рад был привязать здесь лошадь к ограде и сесть за судейский стол. Слава об этом столе разносилась по всему Вайомингу. То был оазис в пустынном меню всей Территории.

Длинные изгороди родового ранчо судьи Генри начинались на Санк-Крике вскоре после того, как этот поток выходил из своего каньона через Боу-Лег. Место это хозяин всегда содержал в порядке, ещё с холостяцких своих лет. Спокойные полчища скота лежали в прохладе тополей у воды или медленно брели среди полыни, кормясь травой, что в те

навсегда минувшие годы росла обильно и высоко. Бычки нагуливали жир на его неогороженном выгоне и жирели ещё больше на его обширном пастбище; тогда как малое пастбище, поле миль в восемь площадью, было на несколько сезонов отдано под лошадей судьи, и на этом просторном пространстве резвились и процветали хорошие жеребята, которых он выращивал от Паладина, своего привозного жеребца. После женитьбы уверяли меня, влияние его супруги тотчас стало заметно в доме и вокруг него. Были посажены тенные деревья, предприняты попытки развести цветы, а к курам прибавились куда более хлопотные индюки. Меня же, гостя, только что прибывшего зелёным с Востока, тотчас запрягли на службу. Я взялся за птичий двор и принялся строить курятник получше, пока судья создавал луга в своей серо-жёлтой глуши. Всякий раз, как какой-нибудь ковбой оставался без дела, он забредал в мою сторону и молча наблюдал за моим плотницким искусством.

Эти ковбои носили самые разные имена. Был там Хани Уиггин; был Небраски, и Доллар Билл, и Чокай. Приехали они с ферм и из городов, из Мэна и из Калифорнии. Но романтика американских приключений одинаково влекла их всех на эту великую площадку для игр молодых мужчин, и своей отвагой, своим великодушием и своим весёлым отношением ко мне они являли между собою близкое сходство. Каждый молча наблюдал за моими достижениями с молотком и стамеской. Затем удалялся в барак, и вскоре я слышал

доносящийся оттуда смех. Но это бывало лишь по утрам. Днём же, во многие дни того лета, что я провёл на ранчо Санк-Крик, я отправлялся стрелять или ехал верхом к устью каньона понаблюдать за людьми, работавшими над оросительными канавами. Приятные системы воды, бегущей по руслам, прокладывались через почву, и то тут, то там среди золотого зерна раздавался журчащий звук; густая зелёная люцерна колыхалась, казалось, почти сама собой, ибо ветра никогда не бывало; а когда к вечеру солнце ложилось на равнину, расщелину каньона заливал фиолетовый свет, и горы Боу-Лег преображались, окрашиваясь в текучие, невообразимые цвета. Солнце сияло в небе, где никогда не бывало облаков, и полдень не был чрезмерно жарким, а тьма — чрезмерно холодной. И так, в течение двух месяцев, я проводил эти приятные, безмятежные дни, совершенствуя куриное хозяйство, служа предметом всеобщего веселья, живя на вольном воздухе и купаясь в совершенстве довольства.

Меня по справедливости называли новичком. Миссис Генри поначалу пыталась оградить меня от этого унижения; но когда обнаружила, что я неисправимо выставляю свою неопытность в западных делах напоказ всему свету, выпрашивая просвещения насчёт гремучих змей, луговых собачек, сов, голубых и ивовых тетеревов, поlynных куриц, того, как набросить лассо на лошадь или затянуть переднюю подпругу седла, и что мой дух воспаряет в восторге при одном виде столь обыкновенного зверя, как белохвостый олень, — она

позволила мне носиться повсюду со своим оружием и оставила всякие попытки оградить меня от насмешек, которые мои промахи неизменно навлекали со стороны работников ранчо, её собственного насмешливого мужа и любого случайного гостя, остановившегося перекусить или переночевать.

По имени меня уже не звали, едва угасла первая слабая учтивость, положенная незнакомцу в первые часы знакомства. Меня знали просто как «новичка». Меня представляли всей округе (кругу миль в восемьдесят) как «новичка». Именно так научился обращаться ко мне и Балаам, мучитель лошадей, приехавший с двухдневным визитом. И именно это прозвище, вкупе с моей общеизвестной беспомощностью, едва не положило конец тем немногим отношениям, что у меня сложились с Вирджинцем. Ибо когда судья Генри убедился, что ничто не может помешать мне заблудиться, что для меня не было редкостью отправиться после завтрака прогуляться с ружьём и через тридцать минут перестать отличать север от юга, он устроил мне охрану. Он назначил мне сопровождающего; и сопровождающим этим вновь оказался надёжный человек! Бедного Вирджинца оторвали от работы и товарищей и приставили ко мне нянькой. И на какое-то время это унижение разъедало его необузданную душу. Печальный жребий его состоял в том, чтобы сопровождать меня в моих скитаниях, надзирать за моими промахами и спасать меня от плачевного перехода в мир иной. Он

сносил это в учтивом молчании, за исключением тех случаев, когда речь была необходима. Он показывал мне нижний брод, который я сам никогда не мог отыскать, обычно принимая за него зыбучий песок. Он должным образом привязывал мою лошадь. Он советовал мне не стрелять из ружья по белохвостому оленю именно в тот миг, когда обозная повозка проезжала позади зверя, за кустами. Редкий день обходился без того, чтобы ему не пришлось спешить спасти меня от внезапной смерти или от насмешек, что ещё хуже. И всё же ни разу не потерял он терпения, и его мягкий, неспешный голос и внешне ленивая манера оставались неизменными — сидели ли мы вместе за обедом, охотились ли в горах, или же он вёл ко мне мою убежавшую лошадь, потому что я вновь позабыл перекинуть поводья ей через голову и отпустить их волочиться.

— Она завсегда стоять будет, коли так сделать, — говорил Вирджинец. — Гляньте, как мой конь смирно стоит вон там.

После такого наставления он больше не говорил со мной. Но эта нянькина обязанность была для него, несомненно, желчью. Ибо, хоть весь его облик и самообладание, и неспособность растеряться делали его вполне взрослым мужчиной, он всё же по-мальчишески гордился своим диким ремеслом и с явным удовольствием носил свои кожаные ремни и звенел шпорами. Его тигриная гибкость и его красота были богаты неубывающей молодостью; и та сила, что таилась под

его наружностью, должно быть, часто сдерживала его нетерпимость ко мне. Несмотря на то мнение обо мне, новичке, какое, я знал, у него сложилось, моя приязнь к нему росла, и его молчаливое общество становилось для меня всё приятнее. Что на него порой находили приступы разговорчивости, я уже узнал в Медисин-Боу. Но нынешняя его немногословность почти стёрла бы это впечатление, если бы не один вечер, когда я случайно проходил мимо барака в темноте, а внутри собрались Хани Уиггин и прочие ковбои.

В тот день Вирджинец и я отправились стрелять уток. Мы нашли нескольких в бобровой запруде, и я убил двух, сидевших близко друг к другу; но они всплыли у бревенчатой запруды, в воде глубиной около четырёх футов, где уходящее течение могло унести их вниз по потоку. Судейская рыжая собака породы сеттер с нами не поехала, поскольку ожидала потомство.

— Она нам всё равно ни к чему, — пояснил мне ковбой. — Бегают больно безответственно, готова стойку сделать что на луговую собачку, что на птицу, с одинаковым усердием. Пустая животи́на.

Моё желание завладеть утками заставило меня броситься в воду прямо в одежде, а затем выбраться скользкой, торжествующей, вымокшей кучей. Серьёзные глаза Вирджинца задержались на этом зрелище грязи; но он, как обычно, ничего не выразил.

— Не больно они хороши на еду, — заметил он, привязы-

вая птиц к седлу. — Нырятьщики они.

— Нырятьщики! — воскликнул я. — Отчего ж они тогда не нырнули?

— Полагаю, молодые были, опыта не набрались.

— Что ж, — сказал я, приунывший, но пытаюсь пошутить, — нырять пришлось мне самому.

Но Вирджинец никак не отозвался. Он подал мне мой двустольный английский дробовик, который я собирался бросить брошенным на земле позади себя, и мы поехали домой в обычном нашем молчании, а жалкие маленькие белогрудые, остроклювые нырятьщики болтались на его седле.

Отомстил он мне в бараке. Проходя мимо, я услышал его мягкий голос, безмолвно доводивший до конца некий рассказ перед внимательной аудиторией, и как раз когда я поравнялся с открытым окном, где он сидел на своей койке в рубаше и подштанниках, спиной ко мне, я услышал заключительные его слова: «А шляпа-то на голове у него — вот единственный знак, по которому и видать было, что он не кусачая черепаха».

Анекдот имел немедленный успех, и я поспешил прочь, в темноту.

На следующее утро я был занят курами. Две несушки дрались за право сидеть на яйцах, которые ежедневно несла третья и которые мне вовсе не нужно было высиживать, и уже в третий раз я согнала Эмли с семи картофелин, которые она скатила вместе и из которых вознамерилась вывести неве-

домо какое семейство. Она носилась с воплями по курятнику, когда вошёл Вирджинец — понаблюдать (подозреваю) за тем, что я делаю теперь такого, о чём стоило бы рассказать потом в бараке.

Он постоял немного, а затем сказал:

— Мы потеряли нашего лучшего петуха, как только миссис Генри сюда переехала.

Я не обратил внимания.

— Знатный был доминиканец, — продолжал он.

Я всё ещё был слегка задет из-за черепахи и не выказал интереса к его словам, продолжая свои занятия среди кур. Это моё необычное молчание, казалось, вызвало у него необычную разговорчивость.

— Видите ли, этот петух всегда жил здесь ещё при судье-холостяке и отродясь не видал ни дам, ни каких иных персон в женском одеянии. У вас, часом, не ревматизм, сэр?

— У меня? Нет.

— А то подумал, может, эти ваши небольшие ныряльщики, что вы мокрым добывали...

Он запнулся.

— О нет, ничуть, благодарю.

— Что-то вы нынче утром смурной, я и рад, что дело не в них.

— Ну так что там с петухом? — осведомился я наконец.

— А, он-то! Не там его вырастили, где юбки видать. Миссис Генри приехала сюда с судьёй уже затемно, с поезда. На-

утро рано вышла поглядеть свой новый дом, а петух как раз у крыльца кормился, и увидел её. Ну, сэр, заорал он так страшно, что я из барака выскочил; и он перемахнул через изгородь и понёсся вниз по Санк-Крику, знай кричит, будто пожар. С тех пор так и не вернулся.

— Вон там как раз курица без всякого рассудка, — сказал я, указывая на Эмли. Она успела выбраться из курятника и теперь стояла на жердях загона, её вопли поутихли до случайного кудахтанья. Я рассказал ему про картофелины.

— Не знал прежде, как её звать, — сказал он. — Тот сбегавший петух её ненавидел. А она его ненавидела, как и всех прочих.

— Я сам её так назвал, — сказал я, — когда особо к ней приглядываться стал. У нас дома есть одна старая дева, милосердная такая, из общества защиты животных состоит, и она вечно не знает, перебежать ли ей перед трамваем или подождать. В её честь я курицу и назвал. Она хоть яйца-то несёт?

Вирджинец «головы себе не забивал» насчёт птицы.

— Ну, не думаю, что она вообще умеет. Полагаю, чуть петухом не родилась.

— Уж больно мужеподобная на вид, — сказал Вирджинец. Мы подошли к загону, и теперь он с интересом разглядывал Эмли.

Курица была вопиющая. Огромная, костлявая, с большим жёлтым клювом, она стояла прямо и настороже, на манер

людей, облечённых ответственностью. С хвостом у неё было что-то не так. Он свешивался далеко на один бок, а одно перо в нём было вдвое длиннее прочих. Перьев на груди у неё вовсе не было — они стёрлись напрочь от её привычки высиживать картофелины и прочие грубые, неподобающие предметы. И это придавало её облику вид декольте, странно расходящийся с прочей её жеманной наружностью. Глаз её был примечательно ярок, но в нём было какое-то оскорблённое выражение. Казалось, будто она вечно ходит по свету, возмущённая всем происходящим на её глазах. Ноги у неё были синие, длинные и на удивление крепкие.

— Ей бы гольфы носить, — пробормотал Вирджинец. — Смотрелась бы куда лучше иных студентов колледжа. И на картошку, говорите, садится?

— Она уверена, что может высидеть что угодно. Я находил её на луковицах, а в прошлый вторник поймал на двух кусках мыла.

Днём мы с рослым ковбоем поехали за антилопой.

Через час, в течение которого он хранил полное молчание, он сказал:

— Полагаю, может, эта здешняя безлюдная страна для Эмли не пошла на пользу. Она и не для всякого человека годится. Эти старые трапперы в горах то и дело умом трогаются, разговаривают вслух, когда на сто миль вокруг ни души.

— Эмли не была одинока, — возразил я. — Здесь ведь сорок кур.

— Верно, — сказал он. — Это её не объясняет.

Он снова замолчал, едучи рядом со мной, непринуждённо и лениво держась в седле. Его долговязая фигура казалась такой расслабленной и вялой, что стремительный, лёгкий прыжок, каким он спешил, показался мне почти невозможным подвигом. Он заметил антилопу там, где я не видел ничего.

— Стреляйте сами, — призвал я его, пока он знаками велел мне поторопиться. — Вы никогда не стреляете, когда я рядом.

— Я не за тем здесь, — ответил он. — Ну вот, упустили её!

Антилопа и вправду скрылась.

— Да будет вам, — сказал он на мой протест, — я этих зверей всякий день бить могу. А что вы сами насчёт Эмли думаете?

— Не могу её объяснить, — ответил я.

— Что ж, — сказал он задумчиво, и тут его мысль сделала один из тех поворотов, за которые я его так любил, — надо бы Тейлору её показать. Вот бы кто в самый раз для Медвежьего ручья в учительницы сгодился!

— Не слишком-то она похожа на хозяйку харчевни в Медисин-Боу, — сказал я.

Он весело хмыкнул.

— Нет, об этих радостях Эмли знать не знает. Так у вас насчёт неё никакой догадки? А у меня вот есть. Полагаю, вылупилась она, может, после большой грозы.

— В большую грозу! — воскликнул я.

— Ну да. Не знаете разве про них, и что они с яйцами делают? Крепкая гроза с молнией да громом яйца портит, не дают им вылупиться. И полагаю, налетела такая, и все прочие яйца в кладке Эмли не вылупились, а вовсе испортились, а она вот не настолько испортилась, вот и смогла кое-как выжить. Только голова у неё, видать, некрепкая.

— Боюсь, что так, — сказал я.

— Намерения-то у неё пречестные, — заметил он. — Коли уж не выходит у неё нестись, так хоть высидеть что-нибудь хочет, стать матерью хоть как-нибудь.

— Интересно, каким по закону родством считается связь между курицей и цыплёнком, которого она высидела, но не снесла? — полюбопытствовал я.

Вирджинец не удостоил это легкомысленное замечание ответом. Он серьёзно оглядывал широкий пейзаж, с виду безо всякого внимания. Он неизменно замечал дичь раньше меня и уже спешивался, пригнувшись среди полыни, пока я всё ещё вытаскивал левую ногу из стремени. Мне удалось убить антилопу, и мы поехали домой с головой и задними четвертями.

— Нет, — сказал он. — Точно гроза, а не одиночество. А вам самому как одиночество?

Я сказал ему, что мне оно по нраву.

— Я бы теперь без него жить не смог, — сказал он. — Оно у меня уже в крови. — Он повёл рукой над необъятным про-

странством земли. — Ездил как-то домой родню повидать. Матушка медленно угасала, и хотела меня рядом. Прогостил год. Но эти виргинские горы уже не радовали меня по-прежнему. Когда её не стало, простился я с братьями и сёстрами. Мы друг друга неплохо любим, но, полагаю, не вернусь я больше.

Мы застали Эмли восседающей на россыпи зелёных калифорнийских персиков, которые судья привёз с железной дороги.

— Я больше на неё не сержусь, — сказал я. — Мне её жаль.

— А мне давно её жаль, — сказал Вирджинец. — Уж больно она петухов этих ненавидит. — И он сказал, что собирает целую коллекцию всяких предметов, которые заставлял её высиживающей.

Но яичное производство Эмли внезапно оборвалось однажды утром, и её неоспоримая энергия обратилась в новое русло. Индюшка, сидевшая в погребе для корнеплодов, объявилась с двенадцатью детёнышами, а почти одновременно с этим появилось и семейство бентамок. Эмли важно разрывала землю в загоне Паладина, когда племя новорождённых бентамок прошествовало мимо по проулку, и она заметила их сквозь жерди. Она пересекла загон бегом и перехватила двух цыплят, что несколько отстали от своей настоящей мамы. Их она вознамерилась присвоить и повела себя высокомерно с бентамкой, которая была меньше и потому вы-

нуждена была отступить с всё ещё многочисленным семейством. Я вмешался и всё уладил; но улаживание оказалось лишь временным. Через час я увидел Эмли, чрезвычайно занятую ещё двумя бентамками, водившую их повсюду и заботившуюся о них с усердием, которое, должен признать, казалось вполне действенным.

И тут случился первый инцидент, заставивший меня заподозрить, что она тронулась умом.

Она прошествовала со своими приёмышами за кухню, где одна из оросительных канав текла под изгородью с сенокосного поля, снабжая дом водой. На некотором расстоянии вдоль этой канавы, на поле, в короткой недавно скошенной стерне, находились двенадцать индюшат. И снова Эмли сорвалась с места, точно олень. Она бросила ошеломлённых бентамок позади. Одним прыжком своих крепких синих ног она перескочила канаву, пронеслась над травой и оказалась среди индюшат, где с материнским инстинктом, столь же неразборчивым, сколь и безрассудным, попыталась увести часть из них прочь. Но эта другая мамаша бентамкой не была, и через несколько минут Эмли была полностью разбита в своей попытке обзавестись новой разновидностью семейства.

Это зрелище наблюдали мы с Вирджинцем вдвоём, и оно его доконало. Он молча отправился в барак, один, и сел на койку, а я тем временем отвёл покинутых бентамок обратно к их кругу.

Я часто задумывался, что думали обо всём этом прочие птицы. Некоторое впечатление на них это, несомненно, произвело. Мысль эта может показаться неразумной тем, кто никогда пристально не наблюдал за иными животными, кроме человека; но я убеждён, что всякое сообщество, разделяющее некоторые из наших инстинктов, разделяет и некоторые из вытекающих чувств, и что у птиц и зверей есть свои условности, нарушение которых их поражает. Если в эволюции вообще есть смысл, это представляется неизбежным. Во всяком случае, курятник был выбит из колеи на несколько следующих дней. Эмли то тревожила бентамок, то индюшат, и несколько из последних умерли, хотя я не решусь утверждать, что это было следствием её неуместных забот. Тем не менее я всерьёз подумывал запереть её, пока выводки хоть немного не подрастут, когда случилось ещё одно событие, и всё внезапно успокоилось.

Судейская рыжая собака породы сеттер явилась однажды утром, виляя хвостом. У неё родились щенки, и теперь она повела нас туда, где они были устроены — между полом одного из строений и полостью землёй под ним. Эмли восседала на всём выводке целиком.

— Нет, — сказал я судье, — я не удивлён. Она способна на что угодно.

В своём новом выборе потомства эта курица наконец повстречала недостойную родительницу. Сеттерше наскучили собственные щенки. Нора под домом казалась ей тёмным и

однообразным жилищем в сравнении со столовой, а наше общество — куда более живительным и отзывчивым, чем общество её детей. Изнеженное общение с нашим высшим родом развило её собачий разум сверх естественного уровня и превратило её в противоестественную, нерадивую мать, вечно забывающую о детской ради мирских удовольствий.

В определённые часы дня она навевывалась к щенкам и кормила их, но уходила сразу по исполнении этого формального обряда; и она была весьма рада, что нашлась гувернантка, готовая их воспитывать. Ссор с Эмли у неё не было, и обе прекрасно друг друга понимали. Я никогда не видел среди животных столь цивилизованного и столь извращённого соглашения. Оно делало Эмли совершенно счастливой. Видеть, как она весь день ревниво распластывает крылья над слепыми щенками, было уже достаточно любопытно; но когда те подросли настолько, чтобы вылезать из-под дома и ковылять следом за гордой курицей, я жаждал присутствия какого-нибудь выдающегося натуралиста. Я чувствовал, что наше невежество делает нас неподобающими зрителями такого явления. Эмли скребла землю и кудахтала, а щенки подбегали к ней, толкали её жирными, слабыми лапками и прятались под её перьями в своих играх в прятки. Вообразите, если сможете, какая путаница царила в их младенческих умах насчёт того, кем же приходилась им рыжая легавая!

— Полагаю, они её за кормилицу принимают, — сказал Вирджинец.

Когда щенки подросли и стали резвыми, я заметил, что миссия Эмли подходит к концу. Они стали для неё слишком тяжелы, а их растущая склонность к шалостям была не по её части. Раз или два они опрокинули её, отчего она поднималась и сурово их клевала, и они отступали на безопасное расстояние и, усевшись в кружок, тявкали на неё. Полагаю, они начали подозревать, что она в конце концов всего лишь курица. И Эмли отступилась с равнодушием, удивившим меня, пока я не вспомнил, что будь это цыплята, она к этому времени уже перестала бы о них заботиться.

Но вот она снова оказалась «без работы», как выразился Вирджинец.

— Выростила она этих щенков за ту никчёмную судебскую рыжую собаку, а теперь опять станет искать себе какое полезное занятие не по своей части.

Тем временем в курятнике должны были появиться и другие выводки цыплят, и мне вовсе не хотелось новых представлений с бентамками и индюшатами. И вот, чтобы избежать неразберихи, я устроил Эмли хитрость. Я спустился к Санк-Крику и набрал гладких, овальных камней. Она вполне удовлетворилась ими и провела спокойный день в коробке. Это было нечестно, заявил Вирджинец.

— Вы что, так её обманутой и оставите?

Я не видел, отчего бы нет.

— Да как же, она ведь щенков этих отлично вырастила. Разве не доказала она, что умеет быть матерью, коли уж на

то пошло? Не позволю я, чтоб время Эмли зря пропадало, пока я тут рядом, — сказал ковбой.

Он мягко взял Эмли и опустил её на землю. Она, разумеется, в великом нервическом волнении бросилась прочь, между загонов.

— Не вижу, какая польза от вашего вмешательства, — запротестовал я.

На это он не соизволил ответить, но убрал безответные камни из соломы.

— Да они ж совсем тёплые! — жалобно воскликнул он. — Бедная, обманутая... — тут он употребил в адрес дамы весьма непривычное определение. И с этим он отправил камни лететь, точно вереницу птиц. — Совсем я к Эмли привязался, — продолжал Вирджинец. — Нечего смеяться. Разве не видите, что у неё вроде как человеческие чувства и желания? Я всегда знал, что лошади вроде людей, ну и колли моя, конечно. Глупо это, полагаю, но у этой курицы будет сейчас настоящее яйцо, чтобы высидеть, прямо сейчас. — С этими словами он забрал одно яйцо из-под другой курицы. — Пусть Эмли его вырастит, — сказал он, — чтоб время своё с пользой употребила.

Сразу это не удалось; ибо Эмли, как ни странно, не соглашалась оставаться в той коробке, откуда её выгнали. В конце концов мы нашли для неё другое укрытие, и в этой новой обстановке, с новым делом для занятия, Эмли уселась на то единственное яйцо, которое Вирджинец так заботливо для

неё раздобыл.

Так, как и во всех подлинных трагедиях, удар Судьбы был нанесён случаем и наилучшими намерениями.

Эмли принялась высиживать в пятницу пополудни, ближе к закату. Рано следующим утром мой сон постепенно развеял звук, неземной и непрестанный. То он стихал, отдаляясь; то приближался снова, делал поворот, уносился на другую сторону дома; затем, очевидно, что бы это ни было, прошло вплотную мимо моей двери, и я подскочил на постели. Высокое, напряжённое дрожание, почти, но не вполне музыкальная нота, напоминало угрожающий визг машины, хотя и слабее, и я выскочил из дома в пижаме.

Там была Эмли, растрёпанная, дико расхаживавшая туда-сюда, — её единственное яйцо чудесным образом вылупилось всего за десять часов. Крошечный одинокий жёлтый комочек пуха семенил позади, как мог, следуя за матерью. Что же тогда случилось с положенным сроком высиживания? На миг это показалось почти знамением, и я едва не присоединился к Эмли в её жутком изумлении, как вдруг понял, в чём дело. Вирджинец взял яйцо у курицы, что сидела на кладке уже три недели.

Я поспешно оделся, слыша исступлённые вопли Эмли. Они звучали непрерывно, без заметной паузы для дыхания, отмечая её беспорядочный путь взад и вперёд через конюшни, проулки и загоны. Пронзительный этот переполох выгнал всех нас поглядеть на неё, а в курятнике я обнаружил,

что новый выводок появляется на свет точно по расписанию.

Но это естественное объяснение невозможно было донести до обезумевшей курицы. Она продолжала носиться по всему подворью, её косой хвост с одним нелепым пером колыхался на бегу, крепкие ноги ступали высоко, неестественным движением, голова была поднята так, что почти отделилась от шеи, а в ярко-жёлтом глазу читалось выражение большее, чем возмущение этим переворотом естественного закона. Позади неё, совершенно позабытый и брошенный, тащился крошечный отпрыск. Она ни разу на него не взглянула. Мы занимались своими различными делами, и весь этот ясный, солнечный день неумолчный металлический крик пронизывал подворье. Вирджинец выставил ей еду и воду, но она не притронулась ни к чему. Рад сообщить, что цыплёнок поел. Не думаю, чтобы глаза курицы вообще видели, разве что так, как видят лунатики.

Жара спала из воздуха, и в каньоне начал проступать фиолетовый свет. Прошло уже много часов, но Эмли не унималась. Внезапно она взлетела на дерево и уселась там, всё ещё издавая свой шум; но в последнее время он поднялся на несколько нот выше, в тонкий, пронзительный уровень ужаса, и уже не походил на машину, ни на какой иной звук, что я слышал прежде или после. Под деревом стоял растерянный цыплёнок, попискивая и делая крошечные прыжки, пытаясь дотянуться до матери.

— Да, — сказал Вирджинец, — забавно. Даже яйцо у неё

повело себя не как у прочих. — Он помолчал, оглядывая широкую, смягчающуюся к вечеру равнину с тем небрежным выражением серьёзности, что было ему так свойственно. Затем поглядел на Эмли на дереве и на жёлтого цыплёнка.

— Не так уж это, к чёрту, смешно, — сказал он.

Мы пошли ужинать, а выйдя, я нашёл курицу лежащей на земле, мёртвой. Я отнёс цыплёнка к семейству в курятнике.

Нет, это было уже не совсем смешно. И я не стал думать о Вирджинце хуже, застав его тайком копающим маленькую ямку в поле для неё.

— Хоронил я тут иных граждан, — сказал он, — коих уважал меньше.

А когда пришло время мне покидать Санк-Крик, последними моими словами Вирджинцу были: «Не забываете Эмли».

— Едва ли забуду, — отозвался ковбой. — Она — прямо-таки притча.

Кроме тех случаев, когда он впадал в свои родные обороты речи (которые, как мне сказали, его скитания почти вовсе стёрли, пока в тот год визит домой не оживил их снова в его речи), он уже давно оставил своё «сэр» и все прочие преграды между нами. Мы стали настоящими друзьями и обменялись многими признаниями — и плотскими, и духовными. Он даже зашёл так далеко, что пообещал писать мне новости с Санк-Крика, если я буду время от времени присылать ему пару строк. У меня теперь много его писем. Правописа-

ние в них со временем стало безупречным, а поначалу было немногим хуже, чем у Джорджа Вашингтона.

Сам судья отвёз меня к железной дороге другим путём — через горы Боу-Лег и на юг, через ранчо Балаама и Драйбоун, к Рок-Крику.

— Буду очень скучать по дому, — сказал я ему.

— Приезжайте дёргать за шнурок звонка, когда только пожелаете, — велел он мне. Как бы я хотел этого! Ни одна страна лотоса не околдовывала сердце человека сильнее, чем Вайоминг очаровал моё.

Глава VII Через две зимы

«Дорогой друг [так той весной писал мне Вирджинец], Ваше письмо получил. Плохое, видать, дело — хворать. В тот раз, как меня подстрелили у Каньяда-де-Оро, я бы тоже занемог, будь рана чуток пониже, али будь я большим любителем выпить. Поправитесь, коли бросите городскую жизнь да поедете со мной на охоту, скажем, в августе, али в сентябре, тогда как раз лось бархат с рогов сбросит.

Дела мои здесь сейчас не радуют, и я решил дело это уладить — снявшись с места. Но повидать вас был бы рад. Мне бы в удовольствие было, не в обузу, показать вам лосей вдоволь да подкрепить ваше здоровье. Я судье не плачусь и никаких жалоб не завожу. Захочет обратно меня — когда проглотит малую толику времени. Это лучшее лекарство, какое я знаю.

Теперь отвечу на ваши вопросы. Да, курица Эмли, может, локо-травы наелась, коли куры её едят вообще. Я только у скота да лошадей от локо-травы отраву видал. Нет, школу ещё не построили. На Медвежьем ручье все горазды языком молоть. Нет, Стива не видал. Он тут, поблизости, да мне его жаль. Да, был в Медисин-Боу. Приняли меня, как я того желал. Помните того малого, с кем я в покер играл, а ему не понравилось? Он теперь работает на верхнем ранчо, у Тен-Слипа. Ничего он собой не представляет, окромя как против

слабаков. У дядюшки Хьюи двойня родилась. Ребята его было подразнили насчёт этого, да я думаю, всё ж его дети. Ну вот, это всё, что знаю на сегодня, и хотел бы повидать вас пока что, как говорят в Лас-Крусес. Незачем вам хворать».

Остаток письма был посвящён обсуждению наилучшего места для встречи, если бы я решился присоединиться к нему для охоты.

Охота та состоялась, и в течение недель, что она продлилась, было сказано кое-что, объяснившее чуть полнее затруднения Вирджинца на ранчо Санк-Крик и причину, по которой он покинул своего превосходного хозяина, судью. Сказано было немного, по правде говоря: Вирджинец редко тратил много слов на собственные беды. Но выяснилось, что из-за некой ревности к нему со стороны старшего работника, или его помощника, он то и дело оказывался исполняющим чужую работу, но в обстоятельствах, устроенных настолько искусно, что ни признания, ни платы за неё он не получал. Он не собирался опускаться до ябедничества. Потому его сметливый, наделённый предвидением ум подсказал простейший выход — уехать вовсе. Он рассчитывал, что судья Генри постепенно поймёт связь между его отъездом и прекращением того исправного труда, что прежде исполнялся. По истечении разумного срока он намеревался снова объявиться в окрестностях Санк-Крика и ждать последствий.

О Стиве он не пожелал сказать больше того, что уже написал. Но ясно было, что по некоей причине эта дружба пре-

кратилась.

Денег за свою работу во время охоты он наотрез отказался принять, уверяя, что не заслужил даже платы за свой стол. А экспедиция завершилась в непроезжем уголке Йеллоустонского парка, близ каньона Питчстоун, где он, юный Лин Маклин и прочие стали свидетелями печальной и страшной драмы, о которой рассказано было в другом месте.

Его провидческий ум верно предугадал ход событий на Санк-Крике. Единственное, чего он не предвидел, — какое впечатление произведёт его поведение на судью.

К исходу той зимы судья с супругой отправились на Восток. Через них многое и открылось. Вирджинец вернулся на Санк-Крик.

— И, — сказала миссис Генри, — он бы никогда от вас не ушёл, будь моя воля, судья Генри!

— Нет, госпожа судья, — возразил её муж, — уж это я знаю. Ведь вы всегда ценили в мужчине приятную наружность.

— Разумеется, ценила, — со смехом призналась дама. — И то, как он, бывало, приводил мне лошадь, с так тщательно расчёсанными прядями чёрных волос и тем синим пятнистым платком, так эффектно повязанным на шее, — мне этого очень не хватало после его отъезда.

— Благодарю за предостережение, дорогая. У меня есть планы, которые впредь будут держать его в отлучке довольно постоянно.

А затем они заговорили серьёзное.

— Я всегда знала, — сказала дама, — что вы обрели сокровище, когда этот человек появился.

Судья рассмеялся.

— Когда до меня дошло, — сказал он, — как искусно он заставил меня осознать ценность его труда, лишив меня этого труда, я усомнился, безопасно ли будет брать его обратно.

— Безопасно! — воскликнула миссис Генри.

— Именно безопасно, дорогая. Ибо, боюсь, он почти так же хитёр, как я сам. А это довольно опасно в подчинённом. — Судья снова рассмеялся. — Но его поступок в отношении того человека, которого зовут Стивом, меня успокоил.

И тут выяснилось, что Вирджинец, как полагали, каким-то образом обнаружил, что Стив отступил от той особой честности, что уважает чужой скот. Наверняка это не было известно. Но телята в Скотоводческой Стране начали пропадать, а коров находили убитыми. И телят с одним клеймом находили при матерях, носивших клеймо другого владельца. Этот промысел пускал корни в Скотоводческой Стране, и из тех, кто им занимался, некоторые уже начинали попадать под подозрение. Стив пока ещё не был заподозрен полностью. Но что Вирджинец расстался с ним — это было известно наверняка. И ни тот, ни другой не желали об этом говорить.

Была и ещё новость: школа на Медвежьем ручье наконец стояла завершённая — пол, стены и крыша; и некая дама из Беннингтона, штат Вермонт, подруга миссис Балаам, весьма

внезапно решила испытать свои силы в обучении нового поколения.

Судья с супругой узнали об этом от миссис Балаам, поведавшей им о своём разочаровании: её не будет на ранчо на Бьютт-Крик, когда приедет подруга, и потому принять её она не сможет. Решение подруги было принято весьма внезапно, и о нём предстоит рассказать в следующей главе.

Глава VIII Искренняя старая дева

Не знаю, к какой из двух оценок — мистера Тейлора или Вирджинца — вы примкнули бы сами. Полагали ли вы, что мисс Мэри Старк Вуд из Беннингтона, штат Вермонт, было сорок лет от роду? Это было бы заблуждением. В ту пору, когда она писала миссис Балаам письмо, некоторые части которого приводились на этих страницах, ей шёл лишь двадцать первый год; а если быть точнее, двадцать ей исполнилось около восьми месяцев тому назад.

Так вот, не в обычае у двадцатилетних барышень задумывать путешествие в две тысячи миль в край, где на воле бродят индейцы и дикие звери, — разве что в сопровождении защитника или же навстречу объятиям такого защитника на другом конце пути. Не в обычае у таких барышень и мечтать об учительстве на Медвежьем ручье.

Но мисс Мэри Старк Вуд не была обычной барышней — по двум причинам.

Во-первых, её происхождение. Пожелай она того, она могла бы состоять в любом числе тех патриотических обществ, о которых наш американский слух наслышан с избытком. Её могли бы принять в «Бостонское чаепитие», «Тикондероги Итана Аллена», «Дочерей Зелёных гор», «Священный круг Саратоги» и «Объединённых колониальных дам». Она вела прямое происхождение от той исторической дамы, чьё имя

носила, — от той самой Молли Старк, что не осталась вдовой после сражения, в котором её супруг, капитан Джон, бился так храбро, что имя его звенит по сей день в крови поколений школьников. Эта прародительница была её главным основанием для членства в тех блистательных обществах, что я перечислил выше. Но она не пожелала вступить ни в одно из них, хотя приглашений подобного рода доставать не могло. Причины её я вам сообщить не могу. Но вот что могу: когда об этих обществах много говорили в её присутствии, её и без того живое лицо оживлялось ещё больше, и она прибавляла свои слова похвалы или уважения к общему хору. Но получая приглашение вступить в одно из этих собраний, она, читая послание, принимала выражение, известное её друзьям как «задрать нос». Не думаю, чтобы истинная причина отказа Молли была вполне достойной. Добавлю, что самым драгоценным её достоянием — сокровищем, сопровождавшим её даже при отлучке всего на одну ночь, — была семейная реликвия: маленький миниатюрный портрет старой Молли Старк, написанный, когда та далёкая дама была едва ли старше двадцати. И каждое лето, когда юная Молли отправлялась в Данбартон, штат Нью-Гэмпшир, с положенным семейным визитом к последним из родни, ещё носившим фамилию Старк, ни одно слово, услышанное ею в данбартонских домах, не радовало её так, как когда некая двоюродная бабушка брала её за руку и, поглядев на неё с нежным вниманием, произносила:

— Дорогая моя, с каждым годом ты всё больше похожа на жену генерала.

— Полагаю, вы про мой нос, — отвечала на это Молли.

— Вздор, дитя. У тебя фамильная длина носа, и я никогда не слыхала, чтобы она нас позорила.

— Но мне кажется, я недостаточно высока для такого носа.

— Ну вот, беги теперь к себе, переодеваться к чаю. Старки всегда были пунктуальны.

И после этого ежегодного разговора Молли убегала к себе и там, в уединении, даже рискуя нарушить пунктуальность Старков, минуту-другую советовалась с двумя предметами, прежде чем начать одеваться. Предметами этими, как вы уже верно догадались, были миниатюра жены генерала и зеркало.

Вот и всё о происхождении мисс Молли Старк Вуд.

Вторая причина, по которой она не была обычной девушкой, заключалась в её характере. Характер этот сложился из гордости и семейного упорства, боровшихся с семейными невзгодами.

Ровно за год до того, как ей предстояло быть представленной свету — не великому столичному свету, но такому, что радушно принял бы её и оказывал ей почёт на своих скромных балах и обедах в Трое, Ратленде и Бёрлингтоне, — удача отвернулась от семейства Вуд. Их достояние никогда не было велико, но его хватало. Из поколения в поколение семья училась, как подобает благородным людям, одевалась,

как благородные люди, говорила и держалась, как благородные люди, и жила и умирала благородными людьми. А теперь мельницы прогорели.

Вместо того чтобы думать о своём первом вечернем платье, Молли нашла учениц, которым могла давать уроки музыки. Она нашла платки, которые могла вышивать инициалами. И нашла фрукты, из которых могла варить варенье. Та машина, что зовётся пишущей, уже существовала в те времена, но эпоха женщин-машинисток едва только занималась, иначе, полагаю, Молли предпочла бы это занятие платкам и варенью.

В Беннингтоне находились люди, которые «диву давались, как это мисс Вуд может ходить из дома в дом, обучая фортепиано, будучи благородной дамой». Такие люди, полагаю, находились всегда, ибо у света всегда должна быть своя мусорная куча. Но не стоит задерживаться на них дольше, чем нужно, чтобы упомянуть ещё одно их замечание насчёт Молли. Все они в один голос заявляли, что Сэм Баннет достаточно хорош для всякой, кто вышивает затейливые узоры по пять центов за букву.

— Осмелюсь заметить, у него была прабабка не хуже, чем у неё, — заметила миссис Флинт, жена баптистского проповедника.

— Вполне возможно, — отозвался епископальный настоятель из Хусика, — только вот кем она была, мы, увы, не знаем. — Настоятель был другом Молли. После этого неболь-

шого замечания миссис Флинт больше ничего не сказала, но продолжила свои покупки в лавке, где они с настоятелем случайно оказались вместе. Позже она заявила приятельнице, что всегда считала Епископальную церковь чванливой, а теперь в этом окончательно убедилась.

Так общественное мнение продолжало возмущаться поведением Молли. Она, видите ли, могла унизиться до работы за деньги, но при этом мнила себя выше самого перспективного молодого человека во всём Хусик-Фоллс — и всё лишь оттого, что их бабушки чем-то отличались друг от друга!

Была ли в том истинная причина? Самая коренная причина? Наверняка сказать не могу, поскольку сам никогда не бывал девушкой. Быть может, она полагала, что труд — не унижение, а вот замужество может им быть. Быть может... Но всё, что я действительно знаю, — это то, что Молли Вуд продолжала бодро вышивать платки, варить варенье, учить своих учениц — и твёрдо отвергать Сэма Баннета.

Так продолжалось, пока ей не исполнилось двадцать. Тут некоторые члены её семьи принялись твердить ей, как богат будет Сэм — да, собственно, уже и был. Именно в эту пору она и написала миссис Балаам о своих сомнениях и желаниях насчёт переезда на Медвежий ручей. Именно в эту пору лицо её слегка побледнело, и друзья решили, что она переутомилась, а миссис Флинт опасалась, что она теряет свою красоту. Именно в эту пору она и сблизилась особенно тесно с той двоюродной бабушкой в Данбартоне и получала от неё

немало утешения и укрепления духа.

— Никогда! — говорила старая дама. — Особенно если ты не можешь его любить.

— Он мне нравится, — говорила Молли, — и он очень добр.

— Никогда! — повторяла старая дама. — Когда я умру, у тебя кое-что будет, а ждать этого теперь уже недолго.

Молли обнимала тётку и останавливала её слова поцелуем. А затем, одним зимним вечером, два года спустя, случилась последняя капля.

Парадная дверь старого дома захлопнулась. Из неё вышел настойчивый поклонник. Миссис Флинт наблюдала, как он уезжает в своих щегольских санях.

— Эта девушка — дура! — яростно сказала она и отошла от окна своей спальни, где заняла наблюдательный пост.

Внутри старого дома захлопнулась и другая дверь. То была дверь собственной комнаты Молли. И там она сидела, заливаясь слезами. Ибо не могла она вынести мысли о том, чтобы ранить человека, любившего её всей силой любви, какая только в нём была.

Было уже почти сумерки, когда дверь её отворилась и в комнату тихо вошла пожилая дама.

— Дорогая моя, — осмелилась та, — и ты не смогла...

— Ах, матушка! — воскликнула девушка. — Неужели и вы пришли сказать мне то же самое?

На следующий день мисс Вуд стала очень твёрдой. Через

три недели она приняла место на Медвежьем ручье. Через два месяца она отправилась в путь — с тяжёлым сердцем, но с духом, жаждущим неведомого.

Глава IX Старая дева встречает неизвестное



3. Прибытие Молли Вуд: Молодая учительница из Вермонта выходит из дилижанса.

Прибытие Молли Вуд

В полдень понедельника небольшой отряд всадников растянулся по тропе, ведущей от Санк-Крика на сбор скота по своему отведённому участку выгона. Весна запаздывала, и они, скача и собирая стадо в эту холодную рабочую неделю, бодро сквернословили и порой пели. Вирджинец держался серьёзно и говорил редко; но у него всегда была наготове пес-

ня — вещь примерно в семьдесят девять куплетов. Семьдесят восемь из них были совершенно непечатными и приводили его товарищей-ковбоев в неописуемый восторг. Зная его за человека своеобразного, они никогда не докучали ему просьбами, а дожидались собственного его настроения, чтобы песня, чего доброго, ему не наскучила; и когда после дня молчания, по виду угрюмого, он вдруг поднимал свой мягкий голос и заводил:

Коли моей Лулу вздумаешь ты докучать,
Так вот тебе мой сказ:
Я бритвой сердце твоё повырежу,
Да ещё и подстрелю тебя враз —

— тогда они хрипло подхватывали каждую последнюю строку и держали её по три, четыре, десять раз кряду, выбивая каблуками ямки в земле в такт напеву.

У низин Медвежьего ручья, что вдаются, точно заливы, среди мысов одиноких холмов, они наткнулись на школьный дом — уже под крышей, готовый принять свой первый урожай вайомингских уроженцев. Он знаменовал собой расцвет обжитой округи и внёс перемену в самый воздух дикого края. Ощущение это холодно ударило по вольным душам ковбоев, и они говорили друг другу, что с бабами, детьми да колючей проволокой эта страна недолго ещё останется страшной для настоящих мужчин. Они остановились перекусить у старого товарища. Заглянув через его калитку, они увидели,

как он копошится среди грядок в огороде.

— Букетики собираешь? — осведомился Вирджинец, а старый товарищ спросил, узнают ли они картошку иначе как на тарелке. Но и он смущённо усмехнулся им в ответ, потому что они-то знали: не всегда он жил в огороде. Затем он повёл их в дом, где они увидели существо, ползающее по полу с горстью серных спичек в кулаке. Он было принялся отбирать спички, но испуганно остановился при громком возмущении, последовавшем за этим; а его жена выглянула из кухни, наказывая ему не слишком потакать маленькому Кристоферу.

Увидев спички, она пришла в ужас, но, увидев, что её младенец затих на руках у Вирджинца, улыбнулась этому коварству и вернулась в кухню.

Затем Вирджинец снова медленно заговорил:

— А много ль у тебя незнакомцев малых народилось, Джеймс?

— Только двое.

— Батюшки! Никак уж почти три года, как ты женат? Не давай времени себя обгонять, Джеймс.

Отец вновь усмехнулся своим гостям, которые и сами смущались и стали вежливы: миссис Уэстфолл вошла, бойкая и радушная, и поставила на стол мясо. После этого говорила уже она. Гости ели степенно, бормоча «да, мэм» и «нет, мэм» себе в тарелки, пока хозяйка рассказывала им о растущих семьях на Медвеьем ручье, об ожидаемой учитель-

нице, о том, как рано у маленького Альфреда режутся зубки, и о том, что всем им пора уже становиться мужьями, как Джеймс. Холостяки в сёдах слушали, неизменно смущённые, но ели усердно до самого конца; а вскоре после того тронулись прочь задумчивой кучкой. Жён на Медвежьем ручье покуда было немного, а дома стояли разбросанно; школьный дом был лишь веточкой на необъятном лице мира лосей, медведей и беспокойных индейцев; но той ночью, когда земля у костра была устлана постелями ковбоев, слышали, как Вирджинец протянул сам себе: «Альфред и Кристофер. Вот те раз».

Они нашли удовольствие в изысканно подобранной сдержанности этого ругательства. Он также прочёл им новый куплет о том, как повёл свою Лулу в школьный дом учить азбуку; и поскольку куплет этот был вполне оригинален и содержал крепкие выражения, лагерь расхохотался и радостно выругался, и все завернулись в одеяла спать под звёздами.

В тот же самый полдень понедельника (ибо так уж случается) какие-то заплаканные люди в юбках махали платками поезду, только что отходившему из Беннингтона, штат Вермонт. Девичье лицо улыбнулось им в ответ разок и тотчас скрылось — им не следовало видеть, как эта улыбка угаснет.

При ней было немного денег, немного одежды и твёрдая решимость в мыслях — не быть в тягость матери и не уступать её желаниям. Только разлука могла позволить ей исполнить эту решимость. Помимо этого, у неё почти ничего не

было, кроме учебников грамматики, колониальной миниатюры и того тяготения к неведомому, о котором уже упоминалось. Если предки, которых мы носим замкнутыми внутри себя, по очереди диктуют нам наши поступки и расположение духа, то, несомненно, в этот понедельник над духом Молли безраздельно властвовала бабушка Старк.

На узловой станции Хусик, до которой было недалеко, она разминулась со встречным поездом, идущим обратно к её дому, и, увидев машиниста и кондуктора — лица, хорошо ей знакомые, — едва не пала духом и зажмурилась при виде этих привычных вещей, которые оставляла позади. Чтобы устоять, она крепко сжала в руке маленький букетик цветов.

Но что-то заставило её открыть глаза; и вот перед ней стоял Сэм Баннет, спрашивая, может ли он сопровождать её хотя бы до узла Роттердам.

— Нет! — сказала она ему со строгостью, порождённой той борьбой, что она вела со своим горем. — Ни мили со мной. Даже до Игл-Бридж. Прощайте.

А Сэм — что же сделал он? Он повиновался ей, — хотел бы я его за это пожалеть. Но повиновение здесь не было делом влюблённого. Он замешкался, золотой миг повис, трепеща, кондуктор крикнул «По вагонам!», поезд тронулся, и вот он стоит на платформе, послушный Сэм, а его золотой миг упорхнул, точно бабочка.

После узла Роттердам, что был минутах в сорока дальше, Молли Вуд мужественно сидела в сквозном вагоне, размыш-

ляя о неведомом. Ей показалось, что она уже достигла его в Огайо, в утро вторника, и написала об этом письмо в Беннингтон. В среду пополудни она уверилась в этом окончательно и написала письмо ещё более живописное. Но на следующий день, после завтрака в Норт-Платте, штат Небраска, она написала письмо и вовсе длинное, рассказав, что видела чёрную свинью на белой груди бизоньих костей, ловившую капли воды, летевшие из железнодорожной цистерны. Написала она и о том, что деревьев здесь удивительно мало. Каждый последующий час пути на запад от той свиньи лишь подтверждал это наблюдение, и когда она сошла с поезда в Рок-Крике, поздно вечером на четвёртые сутки — в те дни поезда ходили медленнее, — она поняла, что и в самом деле достигла неведомого, и отправила дорогую телеграмму, извещающая, что чувствует себя вполне хорошо.

В шесть утра дилижанс тронулся в полынть, и она была его единственной пассажиркой; а к закату она успела пережить кое-какие из первобытных опасностей этого мира. Вторая упряжка, ещё не знавшая хомута и недовольная этой новинкой, попыталась его сбросить и скатилась на дно оврага на всех восьми задних ногах, пока мисс Вуд сидела рядом с возницей, безмолвная и невозмутимая. Оттого он, когда всё закончилось и они вновь оказались на верной дороге, принялся усердно предлагать ей стать его женой на протяжении доброй части следующих пятнадцати миль и рассказывал ей о своей уютной хижине, своих лошадях и своём руднике. Тогда

она пересела и поехала внутри, а Независимость и бабушка Старк сияли в её взгляде. У Пойнт-оф-Рокс, где они поужинали и где его путь заканчивался, её лицо смутило его сердце, и он снова заговорил о своей хижине и жалостно выразил надежду, что она его не забудет. Она отвечала ласково, что постарается, и подала ему руку. В конце концов, он был открытым на вид пареньком, оказавшим ей высочайший комплимент, какой знает паренёк (да и всякий мужчина, коли на то пошло); а Молли Старк, говорят, в своё время отнюдь не была «новой женщиной».

Новый возница разом изгнал первого из мыслей девушки. Он не был открытым на вид пареньком, и он весь вечер прикладывался к виски. Всю ночь напролёт он к нему прикладывался, пока его пассажирка, беспомощная и без сна внутри раскачивающегося дилижанса, сидела так прямо, как только могла; и голоса, которые она слышала в Драйбоуне, отнюдь её не успокоили. Восход солнца застал белый дилижанс всё так же вечно раскачивающимся через щелочную равнину, с возницей и бутылкой на козлах и бледной девушкой, глядящей на равнину и завязывающей узелком в платке совершенно увядшие цветы. Они подъехали к реке, где возница неловко замешкался на переправе. Два колеса ушли за край, и брезентовый верх накренился, точно падающий воздушный змей. Рябь с всхлипом хлынула сквозь верхние спицы, и, почувствовав, как накрениется сиденье, она высунула голову и дрожащим голосом спросила, всё ли в порядке. Но

возница обращался к своей упряжке пространно и с помощью кнута.

Тогда рослый всадник появился прямо у затопленных осей и снял её с дилижанса к себе на лошадь так внезапно, что она вскрикнула. Она почувствовала брызги, увидела плывущий поток и обнаружила себя опущенной на берег. Всадник сказал ей что-то о том, чтобы не унывать, что всё в порядке, но разум её застыл на месте, и она не заговорила и не поблагодарила его. После четырёх дней поезда и тридцати часов дилижанса неведомого на неё разом навалилось многовато. Тогда рослый человек мягко отступил, оставив её приходить в себя. Она вяло разглядывала реку, льющуюся вокруг накренившегося дилижанса, и нескольких всадников с верёвками, которые выправили экипаж и быстро вытащили его на сушу, а затем тотчас скрылись со стадом скота, издавая громкие крики.

Она видела, как рослый задержался у возницы, о чём-то говоря. Говорил он так тихо, что до неё не долетело ни слова, пока вдруг возница громко не запротестовал. Человек этот что-то бросил, оказавшееся бутылкой. Она взвилась высоко и нырнула в реку. Он сказал вознице ещё что-то, затем положил руку на луку седла, взглянул было полу-задумчиво на пассажирку на берегу, отвёл от её глаз свой серьёзный взор и, взлетев на коня, скрылся — как раз когда пассажирка открыла рот и слабым голосом пробормотала: «О, благодарю вас!» вслед его удаляющейся спине.

Возница подъехал теперь, укрощённое существо. Он помог мисс Вуд сесть, справился о её здоровье, понутив голову; затем, кроткий, точно его собственные промокшие лошади, взобрался обратно на козлы и повёл дилижанс к горам Боу-Лег примерно так же осторожно, как если бы это была детская коляска.

Что до мисс Вуд, она сидела, приходя в себя, и гадала, что же должен думать о ней тот человек на лошади. Она знала, что вовсе не была неблагодарна, и что, дай он ей возможность, она бы всё ему объяснила. Если он полагает, что она не оценила его поступка... Тут в самую гущу этих раздумий ворвалось внезапное воспоминание, что она вскрикнула — она не могла с точностью припомнить, когда именно. Она заново прожила это приключение с самого начала и обнаружила ещё пару неясностей — например, как всё это происходило, пока она была на лошади. Определить в точности, что она делала своими руками, было довольно затруднительно. Она знала, где была одна из его рук. А платок с цветами исчез. Она предприняла несколько торопливых поисков его. Видела ли она, или нет, как он что-то прячет в карман? И отчего она вела себя так на себя непохоже? Через несколько миль мисс Вуд уже питала девичью обиду на своего спасителя — и девичью надежду увидеть его снова.

К той речной переправе он вернулся снова, один, когда дни начали убывать. Брод был сухим песком, а поток — извилистой лентой гальки. Он нашёл заводь — заводи в этом

ручье остаются круглый год — и, напоив пони, перекусил неподалёку от того самого места, куда в тот день доставил перепуганную пассажирку. Там, где прежде тёк поток, он теперь сидел, разглядывая совершенно безопасное теперь русло.

— Уж этим-то утром ей вовсе не пришлось бы так крепко за меня цепляться, — сказал он, размышляя над своей едой. — Полагаю, её крепко удивит, когда я скажу ей, как безобидно выглядит теперь этот поток. — Он протянул своему пони ломоть хлеба, слипшийся с сардинами, который пони ловко принял. — Ну ты и лакомка, Монте, — продолжал он. Монте потёрся носом о плечо хозяина. — Не доверил бы я тебе ягод со сливками. Нет, сэр, хоть ты и спас тонущую даму.

Вскоре он затянул переднюю подпругу, вскочил в седло, и пони перешёл на свою разумную механическую рысь; ибо путь он проделал долгий и долгий путь ему предстоял, и знал он это не хуже своего хозяина.

На языке Скотоводческой Страны бычки «подскочили до семидесяти пяти». Это был большой и благодатный скачок в их цене. Чтобы процветать в те золотые времена, вам вовсе не нужно быть сейчас мёртвым или даже пожилым; но это уже вайомингская мифология — столь же баснословная, как и высоко прыгающая корова. И впрямь, люди собирались вместе и вели себя примерно так же приятно и неправдоподобно. Округа Джонсон, и Натрона, и Конверс, и прочие, не говоря уже о Шайеннском клубе, вот уже несколько

недель прыгали через луну исключительно из-за бычков; и на волне этой бодрой цены в семьдесят пять братья Стэнтон устраивали барбекю на ранчо «Гусиное яйцо», своём владении на Медвежьем ручье. Разумеется, зван был весь околоток, и явиться должен был каждый, до последнего человека, хоть за сорок миль; иные же ехали и дальше — Вирджинец ехал сто восемнадцать. Ему пришло в голову — довольно внезапно, как станет ясно, — что ему хотелось бы взглянуть, как там дела на Медвежьем ручье. «Они» — вот как он говорил об этом своим знакомым. Знакомые его не знали, что он купил себе брюки и шейный платок, без всякой нужды превосходные для такого обыкновенного визита. Не знали они и того, что весной, через два дня после приключения с дилижансом, он случайно узнал, кем была та дама в дилижансе. Это он оставил при себе; и лагерь так и не заметил, что он перестал петь тот восьмидесятый куплет, что сложил про азбуку, — куплет, который был непристоен. Он изгладил его незаметно, отдавая ребятам прочие семьдесят девять с рассудительными промежутками. Они не подозревали никакого лукавства, а видели в нём — что в лагере, что в городе — того же не слишком ангельского товарища, которого ценили и не вполне понимали.

Всю весну он ехал по тропе, летом трудился на канавах, а теперь только что закончил осенний сбор скота на убой. Вчера, тратя немного денег для удовольствия на свином ранчо в Драйбоуне, случайный путник с севера сплетничал о Мед-

вежем ручье, о тамошних изгородах, о полевых культурах, об Уэстфоллах и о молодой учительнице из Вермонта, для которой Тейлоры выстроили хижину по соседству со своей. Путник её не видел, но миссис Тейлор и все прочие дамы были о ней высочайшего мнения, а Лин Маклин сказал ему, что она «прямо на высоте». На этом свинтоновском барбекю у неё будет вдоволь партнёров. Славное благо для этой страны, не так ли, — бычки, вот так подскочившие в цене?

Вирджинец слушал, не задавая вопросов, и через час покинул город, с платком и брюками, увязанными в непромокаемый плащ позади седла. Ещё раз оглядев брод — хотя тот теперь был сухим и вовсе не тем же самым местом, — он поехал внимательно, погружённый в мысли. Когда месяцами трудишься усердно, не имея времени думать, то, разумеется, много думаешь в первые свободные дни. «Шагай, Монте!» — сказал он, очнувшись через какое-то время. Он приструнил Монте, картинно прижавшего уши и фыркнувшего. — Да ты никак героем себя возомнил? Не тонула она вовсе взаправду, лакомка ты этакий. — Он остановил серьёзный взгляд на щелочной равнине. — Хотя навряд ли она забыла ту передрагу. Пожалуй, не стану ей напоминать про то, как она за меня цеплялась, и всё такое. Не из тех она, над кем мужчине пристало этак подшучивать. Больно ясный у неё был взгляд. — Так, долговязый и непринуждённый в седле, он ехал рысцей те шестьдесят миль, что ещё оставались между ним и танцами.

Глава X Где родилась Фантазия

Два ночлега под открытым небом — и неутомимый конь Монте доставил Вирджинца к Свинтонам как раз вовремя, к барбекю. Коня в конце концов накормили добрым кормом, а всадника встретили добрым виски. Добрым — ведь бычки-то подскочили до семидесяти пяти!

В кухне «Гусиного яйца» готовилось множество мелких лакомств, а снаружи целиком жарился на вертеле бычок. Костёр под ним разгорался всё ярче на фоне сумерек, начинавших окутывать низины. Хлопотливые хозяева сновали туда-сюда, а мужчины стояли или лежали у отблесков огня. Тут были Чокай, и Небраски, и Трэмпас, и Хани Уиггин с прочими, наслаждаясь праздником; но Хани Уиггин наслаждался особо: у него была публика, и он восседал, разглагольствуя перед ней.

— Здорово! — сказал он, завидев Вирджинца. — Явился, значит, за своей очередью! Номер... шестой, что ли, ребята?

— Смотря кто счёт ведёт, — сказал Вирджинец и растянулся среди слушателей.

— Я его видал номером первым, когда рядом никого не было, — сказал Трэмпас.

— И далеко ль ты стоял, когда это узрел? — осведомился развалившийся южанин.

— Что ж, ребята, — сказал Уиггин, — полагаю, сегодня

вечером сама мисс учительница скажет, кто у нас номер первый.

— Так она уже прибыла в эти края? — заметил Вирджинец, самым безразличным тоном.

— Прибыла! — снова сказал Трэмпас. — Где ж ты последнее время пасся?

— Изрядно подальше от мулов.

— Небраски с ребятами говорили, тебя на выгоне не хватало, — снова вмешался Уиггин. — Слышь, Небраски, кому ты там канарейку предлагал, что учительница сказала не дарить ей?

Небраски жалко ухмыльнулся.

— Что ж, она дама, и честная — не берёт подарков от мужчины, коли самого мужчину не берёт. Но тебе бы стоило все те письма назад забрать, что ты ей писал. Уж попроси её вернуть эти улики.

— Да будет тебе, Хани! — запротестовал юнец. Всем было хорошо известно, что писать своё имя он не умел.

— Гляньте-ка, никак Букашка Болди! — воскликнул проворный Уиггин, склоняясь к новой добыче. — Нашёл уже те тапочки, Болди? Скажу вам, ребята, страшная беда у Болди вышла. Слыхали про это? Болди-то, знаете, на смирной лошади держится примерно так же хорошо, как учительница. Но дайте ему пару спиц для вязания молодых — и поглядите, как он их заставит попотеть! Он связал элегантную пару тапочек с розовыми капустами для мисс Вуд.

— Я их в Медисин-Боу купил, — брякнул Болди.

— Ну да, купил! — согласился искусный комик. — Болди-то их купил. И вот по дороге к её хижине у Тейлоров он и задумался, не великоваты ли они, и стал размышлять, что делать. И придумал он сказать ей, что не уверен насчёт размера, и пусть даст знать, коли будут спадать, тогда он поменяет; и вот подходит он к самой её двери, а духу-то и не хватило. Вот он и суёт свёрток под изгородь и начинает серенаду петь. А её дома-то и нет вовсе. Она у Тейлоров по соседству ужинает, а Болди поёт «Любовь победила гордость и гнев» пустому дому. А Лин Маклин как раз шёл мимо загона Тейлора, где Тейлоров техасский бык стоял. Ну, страшная вышла беда. Штаны Болди порвал, но сам за изгородь свалился, а Лин быка отогнал, а те галоши, что были из Медисин-Боу, кто-то стащил. Ещё будешь ей вязать, Букашка?

— Половина из этого — враньё, — мягко заметил Болди.

— Та половина, что от твоих штанов оторвалась? Ну, не бери в голову, Болди; Лину тоже несладко придётся, как и всем вам.

— Много их таких? — осведомился Вирджинец. Он всё так же лежал на спине, глядя в небо.

— Не знаю, сколько их у неё там, где она выросла, водилось, — ответил Уиггин. — Юнец-возница из Пойнт-оф-Рокс приехал однажды и на другой день обратно уехал. Потом старший работник с ранчо «76», и объездчик лошадей с «Бар-Круг-Л», и два помощника маршала, да с ковбоями

впридачу, целой вереницей — все получили от ворот поворот. Старый судья Барредж из Шайенна приехал в августе поохотиться, да так и проторчал здесь, ни разу не поохотившись. Был там ещё конокрад — до жути смазливый. Тейлор хотел её предостеречь насчёт него, да миссис Тейлор сказала, что сама присмотрит, коли надо будет. Мистер Конокрад сдался быстрее прочих; только учительница и знать не могла, что у него на Ядовитом Пауке миссис Королева скотокрадов лагерем стоит, — до поры до времени. Она с ним кататься не поехала. С иными поедет, да ребёнка с собой прихватит.

— Ба! — сказал Трэмпас.

Вирджинец перестал глядеть в небо и оттуда, где лежал, стал наблюдать за Трэмпасом.

— Я так думаю, она мужчину малость и обнадёживает, — сказал бедняга Небраски.

— Обнадёживает? Оттого только, что стрелять учит? — сказал Уиггин. — Ну, не мне судить. Всегда как-то держался подальше от этих поряточных женщин. Не о чем мне с ними болтать вроде как. Единственные, кого она, по-моему, обнадёживает, — школьники. Она их целует.

— Катается, стреляет да ребятню целует, — усмехнулся Трэмпас. — Многовато для меня этой сюсюкающей кисоньки.

Все рассмеялись. Полынная публика легко поддаётся цинизму.

— Ищи мужчину, я так скажу, — продолжал Трэмпас. —

А разве его нет? Оставляет Болди на изгороди сидеть, пока сама с Лином Маклином...

Все громко расхохотались над той пошлой картиной, что он нарисовал; и хохот оборвался, ибо Вирджинец уже стоял над Трэмпасом.

— Можешь теперь встать и сказать им, что соврал, — сказал он.

Человек этот на миг замер в мёртвой тишине.

— Я думал, ты утверждал, что вы с ней не знакомы, — сказал он затем.

— Встань на ноги, скунс, и скажи, что ты врун!

Рука Трэмпаса шевельнулась за спиной.

— Брось это, — сказал южанин, — не то шею сверну!

Взгляд человека — самое смертоносное из орудий. Трэмпас взглянул в глаза Вирджинца и медленно поднялся.

— Я не хотел... — начал он и запнулся, лицо его ядовито вздулось.

— Что ж, этого достаточно. Стой смирно. Не буду долго тебя утруждать. Признав себя вруном, ты хоть раз в жизни сказал сущую правду. Хани Уиггин, мы с тобой да ребята слишком часто вместе в город выбирались, чтоб кому-то из нас изображать святошу перед остальной шайкой. — Он остановился и обвёл взглядом Общественное Мнение, сидевшее вокруг с тщательно бесстрастными лицами. — Мы вовсе не христианская компания, и, может, почти позабыли, каково это — быть порядочным. Но, полагаю, ещё не забы-

ли, что это значит. Можешь садиться, коли охота.

Лжец постоял, пробуя усмехнуться, поглядывая на Общественное Мнение. Но это переменчивое божество уже отвернулось от него, и он слышал, как оно то тут, то там соглашается: «Верно», «Она дама», и прочие превосходные нравоучения. Так что он придержал язык. Когда же Вирджинец удалился к жарящемуся бычку, а Общественное Мнение расслабилось в том облегчении, что мы все испытываем по окончании проповеди, Трэмпас уселся среди возрождавшегося веселья и снова отважился на шутку.

— Захлопни свою поганую пасть, — сказал ему Уиггин добродушно. — Мне без разницы, знаком он с ней или из принципа так сказал. Разнос, что он нам устроил, я принимаю — и слышь! Ты тоже свою дозу проглотишь! Мы, ребята, тут с ним заодно.

Так что Трэмпас проглотил. А что же Вирджинец?

Он вступился за слабых и говорил достойно на людях, и по всем уставам и параграфам морали ему бы следовало теперь пребывать в особом умиротворении добродетели. Но вот же вышло иначе! Он высказался; он дал им подсмотреть в замочную скважину на своего внутреннего человека; и, отходя прочь от собрания, перед которым был уличён в порядочности, он чувствовал себя скорее порочным, чем добродетельным. Тревожили его и другие вещи — так, значит, Лин Маклин увивается вокруг этой учительницы! И всё же он присоединился к Бену Свинтону в кажущемся христианском ду-

хе. Он взял виски и похвалил размеры бочки, беседа с хозяином вот так:

— Насчёт добавки уж точно беды не будет.

— Надеюсь. Хотя закусок бы побольше не помешало. С утками промашка вышла.

— У тебя вон бочка есть. Лин Маклин её видел?

— Нет. Мы за утками аж до самого ранчо «Лапарель» съездили. Настоящее барбекю...

— На Медвежьем ручье жажда большая. Лин Маклин про уток и не вспомнит.

— Лин в этом месяце не пьющий.

— Записался на месяц, что ли?

— Записался! Он за нашей учительницей приударяет!

— Говорят, лицо у неё уж больно милое.

— Да-да, ужас как приятная. И не успеешь оглянуться, как тебя обвели вокруг пальца.

— Да ну!

— Знай себе учит этих чёртовых ребятишек, и, похоже, взрослому мужчине её ничем не заинтересовать.

— Да ну!

— В «Лапарели» уток всегда было хоть отбавляй, да их дурень-повар в этом году с ума сошёл, индюков разводит.

— Учительница-то, поди, чуть не утонула на Южном Форке.

— Да не думаю. Когда это? Ничего такого она вроде не рассказывала — что я слышал.

— Значит, возница напутал, должно быть.

— Да. Кого-то другого, видать, утопили. А вот и они! Вон она на лошади едет. И Уэстфоллы вот. Ты куда бежишь?

— Прибраться. Мыло у вас тут где найдётся?

— Да, — крикнул Свинтон, потому что Вирджинец уже отошёл на порядочное расстояние, — полотенца и всё прочее в землянке. — И он пошёл встречать первых официальных гостей.

Вирджинец добрался до своего седла под навесом. — Так что, ни разу не упомянула, — сказал он, развязывая непромокаемый плащ ради брюк и платка. — И Лина я нигде рядом с ней не приметил. — Он был теперь в землянке, стаскивая с себя рабочие штаны; и вскоре был отменно чист и готов, кроме узла на платке и пробора в волосах. — Узнал бы её хоть в Гренландии, — заметил он. Он то поднимал, то опускал свечу перед зеркалом, то поднимал и опускал зеркало перед своей головой. — Странно, право, что она об этом ни словом не обмолвилась. — Он поправил платок ещё на складку-другую и наконец, чуть более чем удовлетворённый собственной наружностью, направился безмятежно на звук настраивающихся скрипок. Он прошёл через кладовую позади кухни, ступая легко, чтобы не разбудить десяток-другой младенцев, лежавших на столе и под ним. На Медвежьем ручье младенцы и дети всегда сопровождали родителей на танцы, поскольку нянек отродясь не водилось. Так что маленькие Альфред и Кристофер лежали там среди тряпья, вдоль

и поперёк с маленькими Тейлорами, и маленькими Кармоди, и Ли, и всем прочим потомством Медвежьего ручья, ещё не способным резвиться на воле и стеснять своих снисходительных старших в бальной зале.

— Да Лина-то ещё нет! — сказал Вирджинец, заглядывая к собравшимся. Там стояла мисс Вуд, готовая к кадрили. — Не припомнил, что волосы у неё такие красивые, — сказал он. — Но какая же она маленькая, маленькая девчушка!

На самом деле в ней было пять футов три дюйма; но ему-то приходилось глядеть вниз, на самую макушку её головы.

— Кланяйтесь своей милой! — крикнул первый скрипач. Все пары поклонились друг другу, и, обернувшись, мисс Вуд увидела человека в дверях. Снова, как в тот день на Южном Форке, его взгляд отвёл от её глаз, и она, тотчас догадавшись, отчего он явился спустя полгода, вспомнила о платке и о своём крике тогда, в реке, и преисполнилась властностью и предвкушением; ибо он и вправду был хорош собой. Так что она закружилась в танце, тщательно делая вид, что не замечает его присутствия.

— Первая дама, в центр! — сказал её партнёр, напоминая ей об очереди. — Забыли уже, как это делается, с прошлого-то раза?

Молли Вуд больше не забывала, но танцевала кадрили с самой живой преданностью.

— Вижу сегодня несколько новых лиц, — заметила она вскоре.

— Вы вечно наши бедные лица забываете, — сказал её партнёр.

— О нет! Но вон незнакомец. Кто этот чёрный мужчина?

— Ну... он из Виргинии, и чёрным себя вовсе не считает.

— Полагаю, он новичок?

— Ха-ха-ха! Вот это уж потеха! — и простодушный партнёр немало рассказал Молли Вуд про Вирджинца. К концу фигуры она увидела, что человек у двери сделал шаг в её сторону.

— Ах, — сказала она поспешно партнёру, — как здесь тепло! Пойду взгляну, как там младенцы. — И она прошелестела мимо Вирджинца с ветерком напускного безразличия.

Взгляд его серьёзно задержался там, куда она ушла. — Она меня сразу узнала, — сказал он. Он поглядел с минуту, затем прислонился к косяку. — «Как здесь тепло!» — сказала она. Что ж, не так уж тут и невыносимо жарко; а что до спешки к Альфреду и Кристоферу, когда их природная мать поблизости мельтешит, — не может же она вправду быть оскорблена? — оборвал он себя и снова поглядел туда, куда она ушла. И тут мисс Вуд снова прошла мимо него оживлённо и почти тотчас закружилась в шотландке. — О да, она меня знает, — размышлял смуглый ковбой. — Только вот старается изо всех сил меня не замечать. А занята она чем-то весьма любопытным. Здорово!

— Здорово! — отозвался Лин Маклин угрюмо. Он только что заглянул в кухню.

— Не танцуете? — осведомился южанин.

— Не умею.

— Скарлатиной, что ли, переболел да прошлую жизнь позабыл?

Лин ухмыльнулся.

— Уговорил бы лучше учительницу тебя выучить. Она мне вот вызвалась.

— Хм! — буркнул мистер Маклин и прокрался к бочке.

— Да мне говорили, ты в этом месяце не пьёшь! — сказал его приятель, следуя за ним.

— Ну, а вот пью. Твоё здоровье! — Оба чокнулись жестяными кружками. — Только вальсировать с ней не стану, — выпалил мистер Маклин с горечью. — Она меня «исключением» назвала.

— Вальс, — быстро повторил Вирджинец и, заслышав скрипки, поспешил прочь.

Мало кто на Медвежьем ручье умел вальсировать, а из тех немногих — по большей части неуклюже и тяжеловерсно; потому южанин был исполнен решимости извлечь выгоду из своего умения. Он вошёл в комнату, и его дама увидела, как он подходит к ней — она как раз сидела на минуту одна, — и мысли её слегка заторопились.

— Не желаете ли пройти тур, мэм?

— Прошу прощения? — Она подняла на него взгляд отстранённый и хорошо вышколенный.

— Коли вам по нраву вальс, мэм, не станцуете ли со мной?

— Вы, я так понимаю, из Виргинии? — сказала Молли Вуд, глядя на него учтиво, но не поднимаясь. Оставаясь сидящей, приобретаешь немалый авторитет. Все хорошие учительницы это знают.

— Да, мэм, из Виргинии.

— Слыхала, у южан такие хорошие манеры.

— Верно. — Ковбой залился краской, но говорил своим неизменно мягким голосом.

— Ибо в Новой Англии, знаете ли, — продолжала мисс Молли, отмечая его платок и чисто выбритый подбородок, а затем снова твёрдо встречая его взгляд, — джентльмены просят представить их дамам, прежде чем приглашать на вальс.

Он постоял перед ней мгновение, багровея всё гуще; и чем больше она видела его красивое лицо, тем острее разгоралось её волнение. Она ждала, что он заговорит о реке; тогда ей предстояло удивиться, постепенно припомнить и, наконец, стать с ним очень любезной. Но он не стал ждать. — Прошу прощения, леди, — сказал он и, поклонившись, отошёл, оставив её тотчас же в страхе, что он может и не вернуться. Но она совершенно неверно судила о своём собеседнике. Он вернулся безмятежно, вместе с мистером Тейлором, и был должным образом ей представлен. Так восторжествовали приличия.

Никогда не узнать, что собирался сказать ковбой далее; ибо дядюшка Хьюи подступил со стаканом воды, который

оставил ему принести Вуд, и, попросив тур танца, весьма любезно его получил. Она удалилась в танце от того положения, в котором начинала было чувствовать себя проигравшей. С минуту Вирджинец глядел на свою даму, легко кружившуюся, а затем вышел к бочке.

Оставить его ради дядюшки Хьюи! Ревность — вещь глубокая и тонкая, и мстит она разными путями. Вирджинец готов был поглядывать враждебно на Лина Маклина; но, застав его теперь у бочки, ощутил братство между собой и Лином, и его враждебность приняла новое, причудливое направление.

— Твоё здоровье! — сказал он Маклину. И они чокнулись жестяными кружками.

— Уже получаешь наставления? — сказал мистер Маклин, ухмыляясь. — Мне почудилось, я видел через окно, как ты учишься своим па.

— И тебе здоровья, — сказал южанин. Они снова торжественно чокнулись.

— Она тебя назвала исключением, или как там? — сказал Лин.

— Что ж, поблизости от того выйдет, коли посчитать точно.

— Тогда твоё здоровье! — вскричал восхищённый Лин над своей кружкой.

— То, что ты, случаем, из Вермонта, — продолжал мистер Маклин, — не повод для лишней гордости. Тьфу! Я сам в Массачусетсе вырос, а там тоже людей великих растили —

Дэниела Уэбстера, да Израэля Патнэма, да ещё кучу политиков.

— Виргиния — славный маленький старый штат, — заметил южанин.

— Оба они куда как впереди Вермонта. Она мне сказала, я первое исключение, что ей попало.

— А какое правило ты в тот момент доказывал, Лин?

— Ну, видишь ли, я поцеловать её попытался.

— Да ну!

— Тьфу! Я ничего дурного не думал.

— Полагаю, остановился ты мигом резво?

— Да я ж с ней катался — то в школу, то из школы, то туда, то сюда, а она болтала весело да расспрашивала меня всякий день обо мне самом, и я не так уж много врал притом. Вот и подумал, она не станет возражать. Многим из них это по нраву. А ей нет, ей-богу!

— Нет, — сказал Вирджинец, глубоко гордый своей дамой, отвергшей его самого. Он однажды вытащил её из воды и был её невознаграждённым рыцарем даже сегодня, и он чувствовал обиду; но Лину о том не сказал; ибо в памяти его теплилось ещё и то, как её руки цеплялись за него, пока он нёс её к берегу на своей лошади. Но он пробормотал: «Со всем нелепо!» — когда её несправедливость снова кольнула его, пока оскорблённый Маклин рассказывал свою историю.

— Растоптала она меня сегодня, и безо всякого предупреждения. Собирались мы сюда ехать; Тейлор с миссис впе-

реди в коляске, а я держал её лошадь и помогал ей в седло сесть, как делал уже который день подряд. Кто нас видеть-то мог? Вот я и подумал, она не станет против, а она меня исключением зовёт! Тебе бы послушать, как она про западных мужчин и их уважение к женщинам. Так с тех пор мы и не разговаривали. Двадцать пять миль так проехали, она впереди мчится, а лошадь её мне песком в лицо кидает. Миссис Тейлор, она догадалась, что неладно что-то, да не сказала ничего.

— Мисс Вуд не рассказала?

— Куда там! Она рта не раскроет. Сама о себе позаботиться умеет, ей-богу!

Скрипки в доме звучали всё разгульнее, и ноги тоже. Все уже разошлись вовсю, и танцующие фигуры мелькали туда-сюда за окнами. Оба ковбоя подошли к окну и мрачно заглянули внутрь.

— Вон она, — сказал Лин.

— Опять с дядюшкой Хьюи, — угрюмо сказал Вирджинец. — Кто б подумал, что у него жена и двойня, глядя, как он тут вокруг неё скачет.

— Уэстфолл теперь с ней кружится, — сказал Маклин.

— Джеймс! — воскликнул Вирджинец. — Тоже ведь женат и с семейством, а туда же, танцует.

— Вон она с Тейлором, — сказал Лин через некоторое время.

— Ещё один женатый! — заметил южанин. Они прокра-

лись обратно к кладовой и прошли через кухню туда, где танцоры бодро топтались. Мисс Вуд по-прежнему была партнёршей мистера Тейлора. — Давай ещё виски, — сказал Вирджинец. Они выпили и вернулись, и отвращение с чувством обиды у Вирджинца только углубились. — Теперь её старый Кармоди подхватил, — протянул он. — Выплясывает, точно оползень. А она его глуповатого отпрыска всё утро учит писать «собака» да «корова». Ему б сейчас уютно в постели лежать, старому Кармоди.

Они стояли в том месте, отведённом для спящих детей; и как раз в эту минуту один из двух младенцев, устроенных под стулом, издал сонный звук. Понадобился бы куда более громкий крик — да что там, целый хор жалоб, — чтобы достичь ушей родителей в соседней комнате, столь оглушительен был шум танца. Но в этом тихом уголке лёгкий звук привлёк внимание мистера Маклина, и он обернулся посмотреть, всё ли в порядке. Но оба младенца мирно спали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.